

Владимир Гофман

КАК ОДИН ДЕНЬ

Рассказы

2009

Содержание

Орел и решка	3
Вечная сказка	16
Персиковый сад	19
Температура плавления	31
Леня Пехота	68
Полынья	74
Снегурочка	78
Одинокая птица на зелёной ветке	84
Надюхина жизнь	118
Егорыч	135
Заочник	142
Мафусаил в олимпийке	146
Memento mori	150
Простая наука	155
Животворящий крест	159
Отелло с Песочной улицы	166
Тарзан	182
Когда куранты проббили полночь	203

ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА

В дверь позвонили. Сначала один раз, потом как-то неуверенно другой. Лешка Карман, недовольно матерясь, поднялся с дивана и пошел открывать. На кухне уже возилась соседка; через разрисованное немислимыми красками, треснутое посередине дверное стекло вырывались яркие солнечные лучи, вычерчивая на полу веселые узоры.

«Кого там еще принесло» — думал Лешка, в глубине души надеясь, что это не милиция.

За дверью стоял Михалыч — нищий из подземки на вокзале. Он был одет в красную спортивную куртку, разорванную на рукаве, и ярко-синие спортивные брюки из плащовки с белыми по-генеральски широкими лампасами. На затылке чудом держалась зеленая вязаная шапочка. Устойчивый аромат «Окского» заполнял все пространство лестничной клетки.

— Здорово, Алексей Петрович, — моргая красными глазами, сказал Михалыч бодрым голосом и протянул Лешке руку. — Мир дому сему, а мое вам с кисточкой!

— Обойдешься, — огрызнулся тот и, не протягивая руки, пропустил нищего в прихожую. — Чего приперся? Выпивки у меня нет.

— Потолковать надо, Лепта.

Михалыч стянул с головы шапочку и смял ее в руке.

— Ну, проходи, коли потолковать. Только о чем мне с тобой толковать-то, вроде не пересекаемся?

Настроение у Кармана было хуже некуда. Вчера день не задался, — «нащипал» почти ничего, а вечером продулся в «храп» и потому, как лег спать злым, так злым и проснулся.

Они прошли в комнату. Стола у Лешки не было. Вся обстановка состояла из старого видавшего виды дивана, двух стульев и рахитичного кактуса на подоконнике, который хозяин поливал пивом, проводя, как он говорил, научный эксперимент — способен ли цветок заболеть алкоголизмом? Эксперимент, по всей видимости, давал положительные результаты. К стене над диваном была косо приколоты булавкой бумажная иконка Божией Матери. На полу возле дивана стояла пепельница в виде русалки, полная окурков. Михалыч примостился на краешке стула, а Карман развалился на диване. Закурили.

— Так зачем пришел? — повторил свой вопрос хозяин.

— Григорий-безногий помер, — кашляя, сказал Михалыч и заглянул Лешке в лицо.

— Иди ты!

— Вот те крест! — нищий попытался перекреститься, но у него ничего не получилось, и он стал шумно дышать на толстые, поросшие черными волосами пальцы.

— Когда?

— Ночью, значит. Мы вчера это, хорошо заработали у собора, праздник был. Выпили, конечно, изрядно, ну и...

— Погоди. Помолчи пока.

Лешка встал, подошел к окну. На улице светило солнце, над голыми деревьями кружили грачи. В груди у Лешки заныло. Григорий был его другом. Ногу он потерял в Афганистане, на войне, а жену здесь, после войны, — ушла она от инвалида в поисках лучшей доли, и плюнувший на все Григорий собирал милостыню у кафедрального собора, которую в тот же день и пропивал, уверяя приятелей, что скоро начнет откладывать из подаяния на лучшую жизнь. Лучшая жизнь, тем временем, пронеслась мимо; и Лешка, и Григорий видели ее, летящую в «мерсах» и «вольвах» по широким проспектам к шикарным ресторанам. У лучшей жизни были откормленная розовая ряшка и золотая, в палец, цепь на складчатой шее, бумажники величиной с портфель и веселые длинноногие подружки, густо раскрашенные — и не для того, чтобы спрятать фингал. Григорий, напившись к вечеру всякой дряни, плакал, вспоминая войну, ругал власть и «новых русских», призывал собутыльников к революции и хватался за костыль, если кто-нибудь был против. На лацкане мятого пиджака он носил пластмассовую октябрятскую звездочку, никому не позволял касаться ее руками и гордо называл своим «орденом красной звезды». Короче говоря, мужик был хороший — кореш, одним словом, хотя воровским делом, в отличие от Кармана, никогда не занимался. Среди нищих и всей привокзальной блатоты пользовался уважением.

— Так от чего, говоришь, умер-то? — спросил Лешка, давясь сигаретным дымом.

— Ага, — оживился Михалыч, — вот слушай: мы вчера взяли еще домой пару бутылок, а с нами Наташка-рыжая...

— Опился, что ли? — перебил Карман.

— По всей видимости, Леша. Опился. Я так думаю. Сердце остановилось. Когда мы свалили, он прикемарилмалость. А ночью, сам знаешь, ему бы дозу принять, да кто принесет? Один жил, бедолага... Какое ж сердце выдержит такие нагрузки? Блаженны чистые сердцем, как говорится... Так что преставился ...

— «Сердце остановилось», — передразнил Лешка. — Тоже мне, врач скорой помощи нашелся!

— Так у собора наши говорят, дескать...

Лешка взял со стула куртку.

— Пойдем.

От дома, где жил Карман, до Григория пять минут ходу — мимо собора, а там в переулок, второй дом направо, под топодем — вот и пришли. Михалыч брел сзади и что-то бормотал себе под нос. Лешка его не слушал. Обходя огромные апрельские лужи, он думал о своем друге. Мысли были тяжелые, как бревна на лесоповале в Заветлужье, где он сидел последний раз. Они лезли в голову, глухо ворочались там, давили на мозги. Вот был человек, воевал, по госпиталям валялся, терпел все, что Бог посылал... Ну, может, не всегда терпел-то, а кто стерпит, покажите мне такого? Выпивал, конечно. Иногда лишнего. А покажите, кто не выпивает? Власти ругал? Так кто их не ругает нынче? Он, пожалуй, имел право и все основания. Да-а... Мечтал скопить деньжонок, уехать в другой город, начать новую жизнь, а тут на тебе — бац и в ящик! Такие дела: думаешь завязать, а к тебе с понятиями.

У подъезда топтались несколько нищих. Они знали, что Лешка был приятелем Григория и издали приветствовали его.

— Ты, Леша, туда не ходи, — сказал один из них по имени Евлампий, бородатый мужик в длинном женском пальто болотного цвета. — Там щас менты и все такое. Пойдем лучше помянем Григория-то?

— Ты уж, я вижу, помянул.

Евлампий снял спортивную шапочку и вытер ею свою блестящую лысину.

— Само собой. Как положено. А с тобой-то?

— Со мной другие помянут.

— Что-то ты нынче не ласковый.

— А я тебе не баба, чтобы тебя ласкать.

— Ладно-ладно, я ведь так это, к слову.

Он снова натянул на голову шапку и, прихрамывая, побрел к своим товарищам.

На звоннице у собора ударил колокол.

— Царство Небесное Григорию-безногому, — перекрестился Михалыч. На этот раз ему удалось осенить себя крестным знамением. Глядя на собор, он повторил это трижды. Все помолчали. Хотелось увидеть покойного, но подниматься в квартиру Лешка поостерегся. Евлампий-ханыга прав: лишний раз рисоваться перед ментовкой — себе дороже.

— Жене сообщили? — спросил он у Михалыча.

— Сообщили, — ответил тот. — Да вон и она сама, легка на помине.

— Богатой будет, — заметил Евлампий, с прихлопом вытирая нос рукавом.

— Уже богатая, — ответил Михалыч.

К подъезду подъехала «Ауди» цвета мокрого асфальта; из нее вышли мужчина в длинном черном пальто и серой с изогнутыми полями шляпе и женщина в короткой шубке и черном кружевном платке. Карман бросил окурок и направился к ним.

— Извините, — обратился он к женщине, — можно на пару слов?

Та посмотрела на своего спутника и ответила:

— Я вас не знаю.

Карман усмехнулся.

— Я вас тоже. Но вы — жена Григория?

— Бывшая жена. Что вам нужно? — женщина окинула его взглядом с головы до ног.

— Мы с Григорием были друзьями.

Она презрительно усмехнулась.

— У него было много друзей... Особенно последнее время.

— Пошли, — мужчина взял ее под руку.

— Подожди, браток, успеешь, — голос Кармана зазвенел.

— Что такое?

Лешка помолчал, выразительно глядя на мужчину, и обратился к женщине:

— Я действительно был другом Григория и мне его смерть не безразлична. Не хочу вас обидеть, но мне хотелось бы поучаствовать в расходах на похороны...

Даже если бы Карман очень напряг свою память, он ни за что не вспомнил бы, когда ему доводилось разговаривать в таком светском тоне. С адвокатами и теми он не был так вежлив. Это требовало больших усилий.

— Мы не нуждаемся в вашей помощи, — уже более мягко сказала женщина.

Карман согласно кивнул.

— Да. В этом нуждаюсь я.

Кажется, женщина что-то поняла. Она молча смотрела на небритого и небрежно одетого Лешку. У него царапнуло сердце.

— Вот, возьмите, пожалуйста, — выдавил он и сунул руку в карман. В кармане хрустнули бумажки. Он вытащил их — три пятисо-трублевых купюры — все, что осталось после вчерашней игры. Лешка протянул деньги женщине.

— Не бери, — строго сказал мужчина.

Захотелось дать ему в морду, но Карман сдержался. Поглядел только на «лучшую долю» Григорьевой жены с прищуром. Мужчина заметно заволновался.

— Хорошо, — женщина взяла деньги. — Я вложу их в кладбищенские расходы. Как вас зовут?

— Кар... Алексеем. — Карман повернулся и пошел к одиноко стоявшему на детской площадке Михалычу. Остальные нищие уже разбрелись по своим постам — смерть смертью, а дело остается делом, — кто не работает, тот не ест. «И не пьет!» — богохульствуя, дополнял апостола Павла начитанный в Писании привокзальный экзегет Михалыч.

Пока Лешка разговаривал с бывшей женой Григория, он сбежал в ближайший киоск и принес бутылку водки.

— Будешь? — спросил старый богохульник, разливая водку в два прозрачных пластиковых стаканчика.

— Буду, — сухо ответил Карман.

Он посмотрел на бутылку.

— Ты что какую дрянь взял?

— Так, Леша, — на какую денежек хватило. Ты бы вот дал мне на хорошую-то... Рука дающего, это... не оскудеет.

— Ладно, — оборвал Михалыча Карман, — сойдет и такая.

— Ну, — моргая глазами, с пафосом сказал Михалыч, — земля пухом нашему Григорию и Царство Небесное Божьему рабу! Тонкий стаканчик дрогнул в Лешкиной руке.

— Да, будет ему Царство Небесное, — с хрипом выдохнул он, — будет обязательно! Григорий героем был, кровь проливал на войне. Он не предавал никого... Будет ему Небесное Царство, нам с тобой не будет, а ему — будет!

Михалыч примолк. К подъезду подъехала машина скорой помощи. Из нее вышел врач и два санитар с носилками. — Вон, — кивнул головой нищий, — за Григорием приехали, повезут на вскрытие.

— Пей, что ли, придурок! — со злостью сказал Карман и, запрокинув голову, вылил в горло холодную водку.

— Больше не буду, — сказал он. — Помянете с корешами. Михалыч не возражал. Затолкав бутылку в грудной карман своей красной куртки, он заспешил, петляя между лужами, к собору. Лешка посмотрел ему вслед, усмехнулся:

— Эй, Михалыч! — позвал он. Нищий оглянулся.

— Ты нынче как светофор.

— Чего?— удивился Михалыч.

— Красивый, говорю, ты сегодня, — сказал Карман и махнул рукой, — весь в цвету.

— А-а, — заулыбался Михалыч, но, похоже, так и не понял, о чем говорит Лешка.

Постояв еще немного на площадке и выкурив сигарету, Карман отправился домой. Дома он походил из угла в угол по комнате, побрился старым одноразовым «жиллеттом» в ванной, и, надев новую куртку, постучал в дверь соседки.

— Теть Валь, это я, Алексей! — сказал он, наклоняясь к дверному прихлопу.

После довольно долгого молчания за дверью послышались шаркающие шаги. Лешка повернулся и, нащарив рукой выключатель, включил в прихожей свет.

— Чего тебе, Лешенька? — раздался из-за двери старческий голос.

Тете Вале исполнилось недавно семьдесят четыре, но она держалась бодро, на болезни, как другие в ее возрасте, не жаловалась, с Лешкой уживалась легко и никогда не лезла в его дела. — Я еще хоть под венец, — говорила она. — Вот только ноги бы лучше ходили!

Одним словом, повезло Карману с соседкой. Впрочем, он знал ее еще до вселения в эту комнату – тетя Валя была подругой его бабушки, все жили в бараке на берегу Оки, а потом, когда бараки сломали, получили жилье в одном доме. Лешка в это время сидел и в переселении не участвовал. А вернулся после отсидки сюда, только бабушку уже не застал в живых...

— Мне бы, тетя Валь, до вечера... или нет, до утра сотни две?

— Ох, Леша-Леша, — сказала старушка с укоризной. — Горько ты горькое!

Какое-то время стояла тишина, потом соседка открыла дверь и, близоруко щурясь, протянула Карману деньги.

— Все будет хорошо, ридна маты моя! — с напускной веселостью ответил он и поспешил выйти на улицу.

Ветер разогнал и без того редкие облака, и апрельское небо заголубело, отражаясь в лужах на проезжей части дорог. По краям тротуаров снежное месиво резво таяло, и потоки мутной воды с шумом текли в ливневку.

Алексей бродил по городу, стоял у витрин, заходил в магазины, выпил в подвальчике «Кубанские вина» стакан «изабеллы» и ни разу не «щипнул». Только в «Макдоналдсе», куда зашел перекусить, едва не вытащил машинально из кармана какого-то толстяка торчащий оттуда углом потертый малиновый «клопатник». Пальцы сами потянулись к бумажнику, но Лешка сунул правую руку в карман, а левой тронул стоящего впереди толстяка за плечо. Тот оглянулся.

— У вас кошелек может выпасть, — с усмешкой сказал Лешка.

— А, да, спасибо, — ответил толстяк и переложил бумажник в грудной карман.

«На здоровье, — мысленно ответил Карман. — Ешь, не обляпайся!» Если бы его спросили, почему он так поступил, он, карманник-профессионал, имевший три ходки по 158-й, Лешка ответить бы

не смог. На душе было скверно, все время думалось о Григории, вспоминались их разговоры, как однажды они даже выбрались на рыбалку, сидели ночью у костра и совсем не пили, потому что Григорий случайно разбил единственную бутылку перцовки, которую они взяли с собой. А еще вспоминалось, как Григорий всегда гонял мальчишек — детей нищей братии, когда те совали головы в полиэтиленовые пакеты, чтобы словить кайф, надышавшись парами клея.

— А ну, брысь! — кричал он, размахивая костылем. — Башкипоотшибаю, токсикоманы долбаннные!

Был еще однажды такой случай. Приехал к Лешке корешок из Челябинска, где проигрался на игровых автоматах в пух и прах. А с корешком — подружка с дочкой-малолеткой. И жить им было негде, так как комната той самой подружки тоже была проиграна. Куда их поселить хотя бы на первое время? Карман обратился к Григорию — выручай, дескать. Тот пошептался с нищими у собора и в тот же день Лешкиному корешку вручили ключ от комнаты в коммуналке.

— На три дня, — сказал Григорий. — Устроит? Там что-нибудь придумаем.

— Как сумел? — удивился Лешка.

Покосившись на свою звездочку, Григорий ответил:

— Правительственный канал. Специально для кавалеров ордена Красной Звезды!

— С меня причитается.

Григорий подмигнул и, опершись кулечей на костыль, сказал:

— Всегда готов! Как кавалер и юный ленинец. Хочешь, стих прочитаю?

Карман пожал плечами.

— Сам, что ли, сочинил?

— Нет. Из меня поэт, как из тебя участковый. Вчера в «Бивне» залетный читал, а мне запало.

— Ну, читай, коли хочешь.

Григорий кашлянул в кулак и стал вполголоса читать:

В грехах мы все, как цветы в росе,

Святых среди нас нет.

И если ты свят, то ты мне не брат,

Не друг и не сосед.

*Я был в беде, как рыба в воде,
И понял закон простой:
Приходит на помощь грешник, где
Отвращивается святой.*

Карман помолчал, потом как-то неуверенно произнес:

— Это ты загнул, братишка! Чё мы про святых-то знаем? Они тоже, поди, всякие бывали.

— Тут про других, — сказал Григорий. — Про тех, что прикидываются святыми. Я так понимаю. Видал, чай, таких-то?

— Я много чего видал.

— И я тоже. А теперь беги, брат, за бутылкой. И кореша своего позови, я ему кое-что растолкую про карточные игры. Давно это было. И кореш уж снова на киче, и Григория нет...

До самого вечера бродил Карман по городу, а когда стемнело, не заходя домой, пошел в собор. У ворот стояли трое нищих, среди них Наташка-рыжая.

— Ты куда это, Леша? — спросила она, подмигивая, — или помолиться решил?

Карман остановился, закурил.

— Помолиться тебе бы не помешало, рыжая.

Наташка привалилась плечом к столбу, засмеялась:

— Вот грехов накоплю, тогда и молиться буду.

— А сейчас, что, мало?

— Не полна коробочка, Лешенька. — Она переступила с ноги на ногу и игриво продолжила: — Вот стану старой... Может, в монастырь пойду!

Лешка хмыкнул.

— Там тебя заждались, шалаву такую, — он докурил и, затоптав окурок, прошел за ограду.

— Слыхал? — вслед ему сказала Наташка. — Приятель твой помер, Григорий-безногий?

— Слыхал, — он сделал несколько шагов и остановился. — Знаешь, Наталья, а ведь можно и не дожидаться.

— Чего? — не поняла она.

— А когда полная коробочка-то будет. Григорий вон тоже хотел новую жизнь начать, а взял да и помер.

— Мы пока что, Лешенька, тут. Живем. «А смерть придет, помирать будем!..» — на распев закончила Наталья.

— Да... Мы – тут. А его нету.

В храме пахло воском и ладаном. Справа от царских врат невидимый за высоким киотом чтец быстро и монотонно читал незнакомые Лешке слова: «Милость и суд воспою тебе, Господи. Пою и разумею...».

О чем это? Что это значит? «Милость и суд...» Про суд – это понятно. А милость – что-то ее не видно совсем. Алексей, чувствуя себя чужим, стоял у входа, сжимая в пальцах купленную тонкую свечку. Он бывал в соборе неоднократно, обычно утром или днем, быстро ставил свечи и уходил. Ему было неуютно и тяжело, но необъяснимое чувство влекло его сюда. Он никогда не воровал в храме, а однажды даже крепко побил Витю из бомжатника, который украл в церкви икону, и заставил его вернуть икону на место. Сам знал три образа – Иисуса Христа, Богородицы и Николая Чудотворца. Возле них и ставил свечи. Эти иконы показала ему в детстве бабушка, которая и читать-то едва умела, но была очень набожной, необыкновенно доброй и смиренной. Как говорится, душа чистая. Она и воспитывала Лешку, так и не увидевшего ни разу в жизни своих кочевых родителей. И души не чаяла во внуке, а он и похоронить-то ее не смог – сидел в СИЗО, ожидая очередного суда. Это мучило его все последующие годы.

Служба, видимо, подходила к концу. Все светильники были погашены, и храм освещался лишь неверным светом свечей.

— Не поздно свечу поставить? — спросил он аккуратную старушку у большого круглого подсвечника, все свечи на котором были уже погашены. — За упокой.

— Не поздно, — ответила она. — Богу помолиться никогда не поздно. Вон там, где распятие, туда и поставь. Старушка достала из ящика чистую тряпицу и стала протирать и без того, казалось бы, чистый подсвечник.

«Похожа на бабушку, — подумал Лешка. — Она тоже, наверно, вот так наводила в церкви чистоту». Он зажег свечу, поставил ее на подсвечник. Огонек дрогнул, качнулся и, наконец, вытянулся вверх, стройный, похожий на наконечник стрелы. Эта стрела летела во тьму, высвечивая в полумраке церкви неясные очертания икон,

людей, изображение Распятого на кресте. Алексей глядел, не отрываясь, на огонь — черный фитилек в центре желтого ореола походил на крошечного монаха в островерхой скуфье, который-то застывал неподвижно, то кланялся. Стало вдруг так тошно, что хоть беги. «Что это со мной», — подумал Алексей и, отведя взгляд от огня, посмотрел вокруг. В храме ничего не изменилось. По-прежнему с клироса доносился голос тещи: «...Во утрия избивах вся грешныя земли, еже потребити от града Господня вся делающия беззаконие...», безмолвно стояли люди, время от времени осеняя себя крестным знамением, скользили легкие тени послушниц, убирающих свечи и гасящих лампы перед образами. Алексей приложил руку ко лбу. Лоб был горячим. «Простыл, что ли», — мелькнуло в сознании и сразу забылось.

«Вечная память другу моему, Григорию», — прошептал он едва слышно, больше не знал, что говорить. Потом неожиданно для себя добавил: «Господи, прибрал бы Ты меня, очень устал я на этом свете». И сердце будто кипятком обдало. «Нет, так нельзя», — подумал он, смерти не просят, она приходит сама, и сказал, глядя на распятого Христа, все так же тихо: «Прибери меня. В свое время». Он уже собрался уходить, когда священники вышли из алтаря и встали перед иконой Богородицы. К ним потянулся хор с клироса и весь народ. Алексей пошел к выходу, но вдруг замер. Незнакомая, но, однако, какая-то невозможно близкая и родная, словно откуда-то из детства, мелодия, заставила его остановиться.

*Царице моя преблагая,
Надеждо моя Богородице... —
тихо запел хор, и ему подпевали люди.
Приятельнице си-ирых
и странных предста-ательнице...*

Неожиданно для себя Алексей почувствовал, как из груди его поднялся к горлу острый комок, и защипало глаза. Он огляделся, но никто не обращал на него внимания, взоры всех были устремлены на икону. С отливающей темным золотом доски на поющих людей смотрела скорбными глазами Та, что родила Бога.

Скорбящих ра-а-досте,

Обидимыхпокрови-ительнице...

Голоса певчих, переплетаясь с голосами прихожан, уносились под купол, туда, выше паникадила, где сгущалась пропитанная ладаном тьма.

*Зриши мою-у-у беду,
зриши мою-у-у скорбь.
Помози ми, яко не-е-емоцну,
окорми ми, яко стра-а-ана.
Обиду мою ве-е-еси...*

Слова были не совсем понятны, но одному Богу известным путем доходили до сердца и сжимали его. Алексей опустил голову. Он не мог сказать и даже понять, что с ним происходит, но какое-то новое чувство росло внутри него и уже переполняло все его существо. В хоре голосов ему вдруг послышался голос бабушки и даже Григория-без-ногого— двух таких разных, но единственно близких ему людей. Нужно уходить скорее, подумал он, а то еще сопли размазывать стану, как Фраер.

*Яко не имамы инья помощи разве тебе,
ни иньяпредста-ательницы,
ни инья утешительницы...—*

звучало вслед уходящему Алексею. Он сглотнул тягучую слюну, но комок так и остался в горле.

На улице было уже совсем темно, и на небе высветились бледные весенние звезды. У ворот еще стояли несколько нищих, но Наталья уже ушла.

«Не полна еще коробочка», — вспомнил он и усмехнулся. Нет, дорогая, полна уже полнехонька, через край валится.

Под ногами похрустывал подмерзший к ночи снег. Ссутулившись, Алексей шел к дому и старался ни о чем не думать. Страшная усталость и опустошение тяжелым грузом давили на его плечи. Но глубоко — то ли в сознании, то ли в сердце продолжала звучать пронзительная мелодия церковного пения.

*Радуйся, Радосте наша!
Покрый нас от всякого зла
честным твоим омофором...*

Возле подъезда он постоял, посмотрел на небо, где уже выпали бледные весенние звезды и, достав из кармана остро отточенную с одного края старую трехкопеечную монету, которой в трамвайной толчее ловко резал упругую кожу, потроша дамские сумочки, ударом большого пальца высоко подбросил ее в воздух, как бросают жребий, загадывая: «орел» или «решка». Загадал ли он что-нибудь, он и сам не смог бы ответить. Монета скрылась из глаз, а по возвращении точно легла в ладонь Алексея. Он разжал пальцы. В мертвом свете фонаря на истертой поверхности ничего нельзя было различить...

ВЕЧНАЯ СКАЗКА

1

Он шел быстро, почти бежал, прижимая к груди хрупкое тельце дочери. До больницы оставалось совсем близко, когда она пришла в себя.

— Па, куда мы идем?

— Мы идем в больницу.

— Зачем?

— Ты поранила пальчик.

— А почему я не помню?

— Потому что ты потом уснула.

Больничное здание светилось огнями во всех окнах.

— Почему же мне не больно?

— Так ведь это хорошо, что не больно, правда?

— Правда.

«Скоро ты почувствуешь боль», — подумал он. Говорить было неудобно: он прижимал щекой ее руку на своем плече, чтобы девочка не видела крови, которая стекала ему на рубашку и на дорогу позади них.

— А теперь мне больно, — сказала она.

— Но ты ведь потерпишь?

— Потерплю.

Оставалось пройти всего несколько шагов до подъезда. Он еще крепче прижал девочку к себе и почувствовал, как бьется маленькое сердце.

— Потерпи, Светлячок. Потерпи еще немного. А я расскажу тебе сказку.

— Какую? — голосок дрогнул.

— Это старая сказка.

— Ладно. — Она всхлипнула. — А потом еще одну, новую?

— Конечно. Я расскажу тебе все сказки.

— Все-все?

— Все-все. Какие только есть на свете.

Они стояли друг против друга в полутемной прихожей, и он в очередной раз заметил, что дочь стала выше его ростом. Особенно в этих дурацких туфлях на неуклюжей платформе.

—Где ты была?

—У нас был вечер.

—Какой еще вечер? — он едва сдерживался.

—Вечер отдыха, — ответила она с усмешкой.

В квартире пахло валерьянкой. Где-то у соседей за стеной раздавались звуки одной из надоевших популярных песенок.

—Вечер отдыха? — переспросил он. — И этот вечер длился сутки?

—А что?

—Ничего. Ты могла хотя бы позвонить...

—Там не было телефона.

«На все у них готовый ответ», — подумал он. Дочь попыталась пройти мимо него в свою комнату.

—Подожди, — он взял ее за руку. — Тебе восемнадцать лет и я...

—Уже восемнадцать!

—Нет, всего восемнадцать!

Лицо ее, в косметике, казалось непроницаемым. В последнее время оно было таким всегда, и только особенным показался ему блеск глаз. И тогда он, догадавшись, резко приподнял легкий рукав ее платья: на локтевом сгибе краснели две маленькие отметины, похожие на подсохшие укусы комаров.

Он вдруг остро почувствовал тыльной стороной ладони гладкость кожи на кисти ее левой руки, на том месте, где был когда-то мизинец.

...Огни больницы мчались на него, слепя и пугая. А он все прижимал к груди беспомощное тельце дочери, как будто хотел ее защитить от всего мира...

У него перехватило горло.

Что он мог сказать ей? Какие слова? Таких слов не было у него в запасе. Теперь не расскажешь сказку. Она не услышит ее. Ни одной из тех, что есть на свете.

Он знал, что умирает. Об этом знали все. Дочь присела возле него на краешек кровати.

—Тебе что-нибудь нужно, па? — спросила она.

Ему нужно было многое. И прежде всего — она.

—Нет, — ответил он и закрыл глаза.

—Как ты?

Он не ответил, неопределенно приподняв брови. Что ответишь на такой вопрос. Немного помолчав, спросил:

—Где дети?

—Они сейчас приедут.

—Это хорошо.

На улице за окном неожиданно громко запела птица. Он открыл глаза и посмотрел на дочь: тонкие серебряные ниточки седины на ее висках стали заметнее.

—Открой, пожалуйста, форточку.

Она встала, открыла форточку и снова присела к нему на кровать. Он взял ее руку и провел пальцами по ладони. Кожа на месте, где не было мизинца, оставалась такой же гладкой и тонкой, как в детстве.

—Слушай, — сказал он тихо и замолчал.

... Ее сердечко колотилось так близко, что, казалось, оно бьется в его груди, и он еще крепче прижал дочку к себе. Огни больничных окон сверкали впереди, расплываясь в большое яркое пятно...

—Слушай, Светлячок, я расскажу тебе сказку.

Она заплакала.

—Какую сказку?

Этих слов он не произносил уже много лет, он даже боялся, сможет ли сказать их вслух.

—Старую сказку, — еще тише сказал он, а сам все не выпускал ее руку из своей. — Старую-старую сказку.

—А потом еще одну, новую? — сквозь слезы спросила она.

Вспомнила! Она вспомнила! Он глубоко вздохнул и закрыл глаза. Разноцветные огни летели навстречу ему с невероятной скоростью. И он прошептал едва слышно:

—Все-все... Какие только есть на свете.

ПЕРСИКОВЫЙ САД

Мы отправились пешком с Золотых Песков в Нестинары и по дороге на Ален Мак зашли отдохнуть в маленькое открытое кафе на склоне горы. Погода стояла чудесная, солнце еще не было жарким, внизу лежало спокойное пронзительно-синее море и справа, в сторону Варны, где растянулись вдоль шоссе маленькие виллы со смешными названиями, как пена белели в чуть приметной розовой дымке цветущие сады. Возле перевитой виноградом стены кафе грелся на солнце новехонький «Альфа-Ромео» стального цвета, но в кафе не было ни одного посетителя.

— Красота какая! — сказала я своему спутнику Максиму, который заказывал у стойки бара холодную минералку.

Он оглянулся и кивнул головой.

— Прасковацьфтя, — сказал, белозубо улыбаясь, молодой темнокожий бармен и махнул рукой в сторону моря.

— Что он говорит? — спросила я.

Максим, закончивший когда-то филфак, немного понимал по-болгарски.

— Говорит, что персик цветет.

Бармен покачал головой. Я уже знала – что у нас означает отрицание, у болгар имеет противоположное значение – согласие.

— Товацьфтятпрасковениградини при морето.

Я улыбнулась болгарину и посмотрела на Максима.

— Персиковые сады, — перевел он, принимая от бармена две маленьких бутылки минеральной воды. — Это цветут персиковые сады у моря.

У меня сжалось сердце, и когда мы сели за столиком в углу с видом на море, я сразу заплакала.

— Что с тобой, что? — удивленно спрашивал Максим, а я ничего не могла сказать, только вытирала кулаками текущие по щекам слезы.

— Да что же случилось? — Максим подвинул свой стул ко мне, взял мою голову в ладони и стал целовать мокрые от слез глаза.

— Соленые! — улыбнулся он.

— Как море? — спросила я и по-девчоночьи всхлипнула.

— Как море. Они и цветом как море.

Я опять всхлипнула и глотнула холодной минералки из горлышка.

— Ну, так что случилось? Ты не можешь сказать?

Я достала из сумочки платок, вытерла слезы.

— Могу. Я тебе сейчас все расскажу.

Это случилось чуть больше десяти лет назад. Мне было тогда семнадцать лет, я только что окончила школу и поступила в художественное училище, когда тетя Таня, мамина подруга, повела меня в церковь креститься. Я добросовестно готовилась к этому событию, потому что креститься пошла сознательно с большим желанием и трепетом. Перед крещением батюшка сказал, что восприемников, то есть крестных в моем возрасте иметь не обязательно, но я очень хотела, чтобы у меня была крестная, как у тех, кого крестили в детстве. И, разумеется, ей стала тетя Таня.

Тетю Таню я помню столько, сколько помню себя. Она всегда была рядом. Это она, когда маме было некогда, забирала меня из садика, а позже из музыкальной и художественной школ, это она водила меня на концерты и выставки, это она научила меня верить в Бога и читать первые молитвы.

Обе они – и мама, и тетя Таня, – были одинокими женщинами. Мама и отец давно развелись.

Отца я не помню совсем, а у тети Тани муж погиб в Афганистане, детей у них не было, так что я была единственным ребенком на двоих, и кто из них любил меня больше, – трудно сказать.

Мама и тетя Таня работали в музыкальном училище – мама преподавала фортепиано, а крестная — сольфеджио. Казалось бы, сухой предмет, но, если так, то на крестной моей он не оставил отпечатка. Она была гуманитарием до мозга костей: любила музыку, живопись и поэзию. Теперь мне кажется, что это благодаря ей, а не маме, я стала художником. Помню, как она всегда плакала, когда читала пастернаковскую «Магдалину»:

У людей пред праздником уборка.

В стороне от этой толчеи

Обмываю миром из ведерка

Я стопы пречистые Твои.

*Шарю и не нахожу сандалий.
Ничего не вижу из-за слез.*

*На глаза мне пеленой упали
Прядки распустившихся волос...*

— Слышишь, Марина-малина, — это она меня так называла, — слышишь музыку? Как точно и пронзительно сказано! Ничего я тогда не слышала, но за сердце эти непонятные строчки задевали.

Еще помню, как они с мамой пели Окуджаву:

*...В городском саду флейты да валторны,
Капельмейстеру хочется взлететь...*

Мне кажется, что ни у той, ни у другой не было мужчин. Наверное, это не так, но, во всяком случае, я никогда их не видела, если они и были.

Все вместе мы ходили не только на выставку концерты, не только выбиравались за город на дачу другу погибшего тети-Таниного мужа, но, так же вместе готовились к причастию и посещали церковь. В то время уже никто не стеснялся ходить в храм, все больше на службах появлялось интеллигенции, тета Таня с мамой встречали здесь много знакомых. Обсуждались уже известные книги Меня и только что появившегося Кураева, а на магнитофонных пленках зазвучали песни иеромонаха Романа. Я была тогда погружена в эту атмосферу. Мне нравилось бывать на службах и испытывать радостное чувство легкости после исповеди, нравилось читать утренние и вечерние молитвы, большую часть которых я вскоре, не уча, выучила наизусть, а под гитару могла спеть не только окуджавские или митяевские песни, но и «Радость моя, наступает пора покаянная...»

А дома в моей комнате исчезли со стен плакаты популярных групп, и даже обожаемый мной совсем недавно Ричард Гир занял место где-то между томиками Германа Гессе и Курта Воннегута в книжном шкафу. Зато появилась в восточном углу божница с множеством икон и лампадкой... Короче говоря, как неофитка я делала заметные

успехи. Но постепенно все пришло в норму, и я уже не мечтала о монашеском клобуке и далекой лесной обители на берегу озера. Jedemdasseine. И – слава Богу.

Потом занятия в училище, рисование – вся студенческая жизнь – стали отдалять меня от церкви. Если бы не крестная, я, таким образом, отдалилась бы весьма далеко. Но она напоминала мне о самом главном – всегда не навязчиво и мягко. И снова втроем мы шли в храм, исповедовались и причащались. Так хорошо было на душе, так спокойно и радостно.

На последнем курсе, когда тетя Таня заболела, я влюбилась.

Любовь понесла меня как на крыльях, и я ходила, не чувствуя под ногами земли. И опять же своими секретам, переживаниями я делилась не с мамой, а с тетей Таней. Нет, разумеется, мама знала все, но такой откровенности, как с тетей Таней, с мамой у меня не было. Наверное, мама ревновала меня к крестной, но я не замечала этого. Мы все были очень дружны.

Однажды вечером, когда я вернулась из училища, мама сказала мне, что тетя Таня больна.

— Это серьезно, Марина. У Татьяны опухоль. И как показали анализы – злокачественная.

— Злокачественная опухоль – это рак? — спросила я.

— Да.

— И что теперь делать?

— Лечиться, конечно. Не унывать и на Бога надеяться. Ранние стадии в онкологии поддаются лечению.

Но стадия оказалась не ранняя, а слишком поздняя, чтобы победить болезнь. Думаю, крестная это понимала и, надо отдать ей должное, не теряла самообладания, не металась по разным целителям и экстрасенсам, как нередко и верующие люди поступают. Лечилась тем, что предписывали врачи, разве что в церковь стала ходить чаще и больше молиться дома.

Я, разумеется, и в мыслях допустить не могла, что тетя Таня может умереть. В двадцать лет кажется, что смерть, если и существует, то где-то там, за пределами круга родных и близких людей. Так, пожалуй, думает каждый, кто еще не встречался со смертью. Я бегала на свидания, сдавала зачеты и экзамены и совсем нечасто заходила навестить крестную. Даже не заметила, когда она перестала вставать,

как сильно похудела, как потеряло краски и высохло ее милое, всегда такое живое, лицо.

Однажды, помню, мама сказала, что тетя Таня держится на анальгетиках, обезболивающих средствах, а я беззаботно ответила, что крестная все равно поправится. Мама укоризненно посмотрела на меня и тяжело вздохнула.

— Нет, дочка, не поправится. Я говорила с врачом... Не поправится. Если, конечно, не произойдет чуда.

Чуда не произошло. Я никогда не сомневалась в том, что чудеса случаются, но надо ведь, согласись, прожить на свете чуть-чуть больше, чем двадцать лет, чтобы понять: случаются они не с нами и не с близкими людьми... К сожалению.

Как-то раз я зашла к тете Тане вечером. Зашла на минутку, потому что у подъезда остался ждать меня тот, в кого я была влюблена, — мальчик Толя, студент архитектурного факультета строительной академии. Помню, так и сказала ему: «На минутку. Не успеешь покурить, как вернусь».

Тетя Таня встретила меня как обычно бодро:

— Ну, здравствуй, Марина-малина, как дела?

Я увидела ее пожелтевшее лицо, и у меня защемило сердце:

— Все хорошо, тетя Тань. А как ты?

— И у меня все хорошо, девочка. С Божией помощью, жива.

— А как же! Ты обязательно поправишься, и мы поедем вместе в Троице-Сергиеву лавру, как собирались, так ведь?

Крестная промолчала, а я хотела было уж признаться, что мне пора, когда она сказала:

— А у меня к тебе, Марина, просьба.

— Что-то принести?

— Нет. Просьба вот такая. Я недавно прочла в одной газете, что раковые больные исцеляются, если долго смотрят на цветущий персиковый сад. Ты знаешь, я мало верю таким советам, но тут что-то в душе у меня качнулось: так захотелось увидеть персиковый сад в цвету!...

Жизнь прожила, а не видела, как цветет персик, даже не представляю этого, но очень хочу посмотреть...

— Теть Тань, так где же...

— Не бойся, милая, я не сошла с ума. Я вот, о чем хочу тебя попросить. Ты у меня художник... У тебя впереди много-много интересных и оригинальных картин. А пока нарисуй одну. Для меня.

— А что надо нарисовать?

— Персиковый сад. Цветущий персиковый сад. Хорошо?

— Ладно, я нарисую, — не задумываясь, ответила я.

— Вот и замечательно. Буду смотреть на твою картину, и представлять, как мы с тобой гуляем среди цветущих персиков...

— И будешь поправляться!

— А что, между прочим, китайцы считают, что сянь-тао дает человеку бессмертие.

— Сянь-тао?

— Ну да, персик. Есть такая легенда: персиковое дерево в садах богини бессмертия Си-ван-му цвело раз в три тысячи лет, а плод вечной жизни созревал в течение следующих трех тысяч лет. Кому удавалось вкусить этих плодов, тот становился бессмертным.

— Звучит заманчиво.

— Да. И красиво...

— Вот уж никогда не думала, что персик и есть то самое древо жизни!

— У разных народов – по-разному.

Я засмеялась.

— Ты, тетя Тань, не классическую литературу, случайно, преподаешь?

— Нет, математику, — улыбнулась она. — Так что, берешься за работу?

— Завтра же и начну.

Тетя Таня хотела еще что-то сказать, но я перебила, вспомнив про бедного Толика.

— Тетя Тань...

— Беги-беги, он уж заждался, наверно.

— Кто?

— Тот, кто у подъезда стоит.

Я восхищенно покачала головой.

— К тому же еще и экстрасенсорные способности!

— А то! Поболеть иногда полезно, дорогая моя девочка.

«Может быть, но не так, не смертельно», — подумала я, выходя на лестничную площадку. Когда я пришла к тете Тане через несколько дней, она сразу спросила о картине. А я, честно говоря, забыла о своем обещании и как-то отшутилась, дескать, ищу очевидцев цветущего персика.

— Ты знаешь, Мариша, — сказала она, — я, очевидно, убедила себя, что ли, в том, что мне поможет твоя картина. И я жду ее. Самовнушение – великое дело!

— Эффект Плацебо.

— Вроде того.

Мне вспомнился рассказ О.Генри «Последний лист». Помнишь? Но в жизни не в книге – все проще и страшней. Это я уже, слава Богу, тогда начинала понимать. С того дня я принялась за картину. Первая трудность возникла сразу: я никогда не видела персикового дерева – ни без цвета, ни в цвету. Как оказалось, и среди знакомых не нашлось очевидцев. Полезла в энциклопедию, нашла в библиотеке спецлитературу, – прочла все, что можно было о персике. Узнала немало интересного. Например, в мифологии цветок персика символизирует весну, женское обаяние, мягкость, девственность и чистоту. Не только у китайцев это дерево традиция связывала с бессмертием, древом жизни его называли и японцы, и многие другие народы использовали дерево персика в охранительной магии, изготавливали из него амулеты и талисманы, считая, что персик прогоняет злых духов.

Даже у древних христиан персик с листом у черешка символизировал одну из добродетелей — молчание. Я нашла китайское стихотворение, которое заканчивалось словами:

*...Посох возьми
И возвратно, не торопясь,
Путь предприими
К роднику, где персик цветет.*

Где бы увидеть тот родник! В России живем. Ни с каким посохом такого родника не отыщешь. Мне искренне хотелось доставить радость крестной, я старалась и часами стояла у мольберта, закрывала глаза и пыталась представить себе цветущий персиковый сад, но воображение мое выдавало только вишни да яблони. Все мои книжные

познания никак не хотели транспонироваться на холсте. Постепенно работа захватывала меня, но по-прежнему в том, что я делала, отсутствовало главное — живой цветущий персиковый сад. Наконец, картина была готова. Я закрыла ее куском ткани и целый день не подходила к мольберту. Утром позвала маму и сняла покрывало. Мы молча стояли и смотрели на мое творение.

— Что, мам, — спросила я, — похоже это на персиковый сад?

Она ответила не сразу.

— Знаешь, дочка, — неуверенно сказала она, — я никогда не видела, как цветет персик. Наверное, то, что ты написала, действительно, похоже на персиковый сад, но...

— Что?

Мне хотелось услышать от нее то, что я сама не могла сформулировать, выразить словами свое ощущение.

Но, в то же время другая моя половина желала, чтобы мама одобрила работу, и на этом бы закончились все трудности, связанные с несчастным персиком, который в наших краях не цветет.

— Понимаешь... Тут все есть, как на фотографии цветущих деревьев... Очень хорошая фотография. Может, я ошибаюсь, ты извини.

— Нет, ты права. Я и сама это чувствую.

Мамины слова меня, конечно же, задели, и я начала работу заново. Помню, как-то пришла к тете Тане утром. Мне открыла соседка. В квартире пахло воском и ладаном. У меня вздрогнуло сердце. Соседка шепнула, что у больной священник, она исповедается и причастится. Я отпустила соседку и уселась в кресло возле книжного шкафа. За стеклом стояли альбомы по искусству, я видела их тысячу раз, но сегодня вид глянцевых суперобложек меня расстроил — рядом с такими книгами, переполненными репродукциями произведений великих мастеров, особенно чувствуешь себя бездарью, не способной нарисовать простое персиковое дерево. Стыд и позор!

Из-за двери доносились голоса — чуть громче молитва священника, чуть тише — тети Танин. Наконец, священник в епитрахили, с дароносицей в красной сумочке из бархата на груди вышел из комнаты крестной и поздоровался со мной.

— Слава Богу, причастилась, — коротко сказал он. Проводив священника, я поставила чайник на плиту и вошла в комнату тети Тани. Она лежала улыбчивая и спокойная.

— С причастием, крестная, — сказала я и, поцеловав ее в щеку, присела на край постели. — Ну, как ты?

— Хорошо, Маринушка, — ответила она. — Все в порядке.

Рядом с кроватью, у изголовья больной, на покрытом салфеткой журнальном столике среди пузырьков и ватных тампонов лежала открытая коробочка «Тромала», из которой выкатилось несколько ампул, и тут же, на уголке, примостились молитвослов и сборник стихов Цветаевой. Тетя Таня заметила мой взгляд и сказала:

— Вот, видишь, стихи читаю.

Я смотрела на ампулы с наркотиком и чувствовала, как к горлу подкатывает комок. Тихим голосом, проникновенно, как только она умела, тетя Таня прочла:

*Пора снимать янтарь,
Пора менять словарь,*

*Пора гасить фонарь
Наддверный...*

Я схватила ее за руку.

— Что ты, тетя Тань?!

Рука была сухой и горячей.

— Это же Цветаева, глупышка! Ну? Что ты?... Цветаева... Марина-малина, — она погладила мою руку и отвернулась.

В тот день она ничего не спросила про картину, а я про себя решила закончить ее как можно скорее.

Но — решить это одно, а сделать — другое. По-прежнему у меня ничего толкового не получалось. Я попробовала даже мифологический сюжет, сделала такуюпочеркушку: бог долголетия у даоссов, кажется, его зовут Шоу-син, выходит из плода персика. Это было совсем уж от бессилия и никакого отношения к цветущему персиковому саду не имело.

Картина стала мучить меня. Я пропустила несколько занятий в училище и не встречалась с Толей, ссылаясь на нездоровье.

Снова и снова рисовала я персиковый сад. Невысокие деревья, зеленая трава, бело-розовые цветы — и во всем этом не было жизни. Появился в картине путник-монах, идущий с посохом вдоль ручья, но

и он казался мне здесь фигурой надуманной. Наконец, я поняла, что ничего уже не могу добавить к написанному и понесла картину тете Тане.

Стоял октябрь. В том году он выдался сухим и солнечным. В маленькой комнате, где лежала тетя Таня было много света. Крестная всегда отличалась любовью к чистоте и порядку. Даже на зеркале не отыекать было пылинки. И только устоявшийся запах лекарств да коробки «Фентанила» и «Морфина» на столике у изголовья выдавали, что здесь уже давно находится больной человек. Теперь я уже видела, как быстро сдает тетя Таня. Ее трудно было узнать, только глаза были прежними — голубыми озерами они светились на исхудавшем желтом лице.

Мы поцеловались. Тонкий, едва уловимый аромат «Лайтблю», духов из любимой ею серии «Дольче Габбана», несколько успокоил меня — человек, который следит за собой, умирать не собирается.

— Вот, тетя Тань, персиковый сад, — я развернула картину и поставила ее у спинки кровати. — Извини уж, как сумела.

Она приподнялась на подушках.

— Нет, Мариша, поставь так, чтобы свет из окна падал, — слабым голосом сказала крестная.

Я перенесла картину на туалетный столик и прислонила к большому овальному зеркалу в ореховой раме, перед которым мы так часто сидели с тетей Таней и приводили, говоря ее словами, свои рожицы в порядок. Совсем недавно это было, и в то же время, казалось, в какой-то другой далекой жизни.

— Так видно? — спросила я, испытывая чувство отличника, не выполнившего домашнее задание.

— Хорошо. Так хорошо.

Мы обе замолчали. Я смотрела в окно, за которым стоял уже весь облетевший пирамидальный тополь. Картину мне видеть не хотелось.

— Ты иди, девочка, — сказала тетя Таня. — Иди, а я... поброжу по персиковому саду. Ладно? А потом заглянешь ко мне, и я расскажу тебе о своих впечатлениях. Иди-иди, у тебя много дел... Да, еще скажи, чтобы мама зашла.

У двери я оглянулась. Тетя Таня, не отрываясь, смотрела на мою несчастную мазню. В солнечном луче, протянувшемся через всю комнату, плавали пылинки...

Ничего мне не рассказала тетя Таня, потому что ночью она умерла.

Мы с мамой по очереди читали Псалтирь у ее гроба. А в гробу лежала маленькая исхудавшая женщина в белом платочке и с бумажным венчиком на лбу — совсем не тетя Таня. Были похороны — отпевание в церкви, потом кладбище, желтый бугорок земли и цветы у подножия деревянного креста. Пошел дождь, и мы все выпачкались в глине.

Почему я не плакала? Мама плакала, а я не уронила ни слезинки. Почему? Не знаю. Что-то будто замерло во мне, и я стала бесчувственной, как столб.

А потом мне прочли ее завещание. Тетя Таня все оставила мне: квартиру, свои сбережения, даже дом где-то в глухой деревне, куда она и не ездила никогда. Вот такая история.

Максим взял мою руку, погладил пальцы.

— А картина? — спросил он.

— Картина? Висит на стене в моей комнате, рядом с портретом тети Тани, который я писала на третьем курсе пастелью.

— Я не помню, — сказал Максим, морща лоб.

— Это в квартире моей мамы, в другом городе... Нам, пожалуй, пора?

Максим посмотрел на часы и кивнул. Мы встали и пошли к выходу.

— Дождаете еще, ние се радваме на гости! — сказал на прощание белозубый болгарин-бармен, и я без перевода поняла, что он приглашает нас заходить еще.

Я помахала ему рукой.

Солнце клонилось к закату. Там, в Нестинарах, наверное, уже полыхает костер, на углях которого чуть позже, когда стемнеет, начнут танцевать свой знаменитый танец босые темнокожие болгары, похожие на цыган. А потом все посетители ресторана возьмутся за руки и пойдут вокруг затухающего костра под звездным небом, и оркестр ударит народную «Вай, дудула».

На душе после рассказа Максиму было спокойно, как будто после исповеди – такое чувство, словно солнце светит сквозь дождевые струи. Грибной дождик. Давно я не была на исповеди, вернусь из Болгарии – обязательно схожу.

Я взяла Максима под руку и оглянулась на цветущие персиковые сады на васильковом фоне моря. Я обязательно нарисую их теперь. Для тети Тани.

ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ

Когда он, «из дальних странствий возвратясь», приезжал в городок своего детства, то обязательно шел, как заведено, на кладбище – посетить родные могилы. Кладбище располагалось в березовой роще на склоне глубокого оврага. Дорога к нему вела по деревянному мосту через залив, обрывистые берега которого были похожи на срез слоеного пирога – желтая глина чередовалась с белой, потом шла полоса красноватого оттенка, затем снова желтая и так до самой воды. Ему нравилось ходить этой дорогой – через старый парк, по разбитой лестнице с упавшими перилами, по выгоревшим на солнце, никогда не знавшим краски доскам моста, скрипучим и ветхим, готовым в любой момент проломиться, потом по крепко вытопанной тропинке к покосившимся воротам кладбища.

Годы проходят, а тут ничего не меняется. Вот так же, может быть, чуть задыхаясь, поднимался в эту гору прадед. По этим ступеням ходил дед. А тропинка помнит еще, пожалуй, походку отца... Вон, все они тут лежат – по правую руку от входа, за полуразрушенной часовней, под вязом. Мир вам, в земле почившие! Когда-нибудь и его понесут в деревянном ящике тем же путем – по мосту через залив – на старое кладбище. Время жить и время умирать. С возрастом эта мысль уже не пугала, напротив, была даже приятной. Уж если лежать в земле все равно придется, так лучшего места не найти. Здесь почти с каждого креста или памятника смотрят знакомые лица. Большинство горожан, которых он знал когда-то, поменяли вид на жительство. Теперь у них вечная прописка.

А всего и делов-то – переселиться с правого берега залива на левый. Что же изменилось? Да, собственно, ничего. Порой ему казалось, что стоит выйти за кладбищенскую ограду, как все эти люди, которых давным-давно нет, но чьи надгробные портреты днем и ночью глядят незрячими глазами в пространство, будут встречаться на улицах, в привычных местах — на пристани, в парке, у проходной завода, у старой полуразрушенной чайной, возле памятника погибшим в годы войны, где по-прежнему стоит та самая чугунная ограда – ажурное литье его товарищей... Никого уже не встретишь. Никогда.

Что потеряно во времени, не найти в пространстве. Подходя к очередной могиле, он останавливался, мысленно здоровал-

ся с покойником, вспоминал, каким тот был при жизни. «Здравствуй, дядя Саша! Моряк – с печки бряк!.. Помню, как дразнили тебя, а ты бегал за нами по дебаркадеру, и твоя конопляная веревка доставала до голой спины кого-нибудь из мальчишек...» «Галина Павловна! Вечная вам память! Мы любили ваши уроки, но доводили вас своими выходками до слез...» «И ты уже здесь, неугомонный Михалыч? Наше вам с кисточкой! Значит, выпил, наконец, свой бассейн? А говорил – до дна не достать...».

Так в один из приездов, бродя среди ухоженных и неухоженных холмиков, под кривеньким кустом сирени он наткнулся на скромную могилу человека, который учил его когда-то огненному литейному делу. С фотографии смотрел постаревший Виктор Петрович Сурин в полосатом пиджаке, в белой рубашке с отложным воротничком – таким он вагранщика никогда не видел. А глаза были те же – колючие, с прищуром, как у Шукшина. Присев на скамейку возле могилы, он, как в теплую июльскую воду, погрузился в прошлое.

...В кабинете начальника литейного цеха было душно. На заваленном бумагами столе возле старинного чернильного прибора стоял покрытый толстым слоем пыли вентилятор времен первых полетов в космос, который, судя по всему, с тех пор и не работал. Валька Ярцев, сержант-дембель, две недели назад дернувшийся после службы домой, сидел на краешке стула и, ероша на голове еще не отросшие волосы, внимательно разглядывал плакат на стене, изображавший сталевара в войлочной шляпе и очках.

Через открытую оконную фрамугу доносилась с заводской площади популярная «Вологда»: «В доме, где резной палиса-аа-д...» Зазвонил телефон, но начальник цеха, лысеющий мужчина лет сорока, не обратил на него внимания. С непроницаемым выражением лица он держал перед собой Валькин военный билет, постукивая по столу карандашом в такт песне.

— Значит, после армии? — спросил он неопределенно.

— После армии, — подтвердил Валька. — Долг государству отдал сполна.

— Ага. Это правильно, долг, он, как говорится, платежом красен, — начальник цеха отложил военный билет и взял в руки диплом.

— А почему к нам? Молодежь теперь, где почище, выбирает, а у нас контингент известный. Откуда кого поперли за нарушения – все в литейку. Грязь, жара, огонь – не страшно?

Валька улынулся.

—Я не из пугливых. И потом — у меня профессия такая.

В дипломе значилось, что Валька окончил техникум по специальности «Литье цветных металлов и сплавов», в результате чего ему присвоена квалификация техника-технолога.

—Это здорово! — оживился начальник цеха,ознакомившись с документом. — Литейщиков с дипломом у нас нет ни одного. — Он смешно вытянул губы и стал похож на карася. — Я и то — кузнец.В процессе осваиваем. Так что специалисты нужны, слов нет. Ты в литейном-то хоть немного успел поработать?

—Нет, — ответил Валька. — Только на практике недолго. А потом в армию забрали. Теперь поработаю.

—Это конечно, — начальник цеха закрыл диплом и посмотрел в упор на Вальку. — Только ведь у нас цветного литья нет — чугун. Так называемая «почвенная формовка». Как при царе-горохе.

—Ну, так что? — сказал Валька и провел рукой по волосам. — Я на практике как раз в цехе чугунного литья был. Так что представляю, что к чему. Целых три месяца на стержневой машине...

—Целых три месяца? — с иронией переспросил начальник цеха и опять вытянул губы. — Горячий стаж, значит, открыл?

—Из огня да в полымя. Дело такое — хочу на передовую, поближе к огню.

—Куда уж ближе!

—В армии шутили: поближе к огню — то есть, на кухню!

Начальник цеха засмеялся. Потом сказал:

—Веселый ты парень, Валентин. Это хорошо.

—А чего унывать-то? Как в песне поется: вся жизнь впереди – надейся и жди!

—Надеешься, значит?

—Надеюсь.

Опять зазвонил телефон. Начальник цеха на этот раз взял трубку и долго кому-то объяснял, что заказ будет готов вовремя, что литейщики еще никогда никого не подводили, что, несмотря на слож-

ность, цех берется за несвойственное его специфике художественное литьё.

По радио теперь выполняли заявку ивановских ткачих: Алла Пугачева с печальным задором пела про Арлекино:

*...Какое, право, дело вам до тех,
Над кем пришли повеселиться вы...*

Валька слушал и разглядывал кабинет и его хозяина. Начальник цеха ему сразу понравился.

— Такие дела, — закончив разговор, обратился тот к Вальке и посмотрел еще раз в диплом. — Такие дела, Валентин, э-э, Петрович Ярцев. Вот они, значит, какие эти самые дела. Слышал звонок? Из горкома партии, — он поднял вверх указательный палец. — Интересуются. Задание, конечно, почетное, ничего не скажешь: ограда для памятника погибшим...

— Чугунное литьё — это очень красиво, — сказал Валька.

— Красиво-то красиво, но эту красоту еще сотворить надо. А кто творить будет? Вот вопрос.

Валька понимающе кивнул.

— Ну да ладно. С тобой-то что делать? Нет у меня пока ни одной должности ИТР свободной, понимаешь? — начальник цеха на мгновение задумался, потом вытянул вперед руку, словно боялся, что Валька его перебьет, и быстро заговорил:

— Но ты не беспокойся. Это временно. В конце года уйдет на пенсию технолог. С радостью тебя поставлю на его место, а пока поработай в цехе — производство узнаешь, освоишься, так сказать, а? Валька пожал плечами. Он и не собирался сидеть в кабинете.

— Хорошо. Я вообще-то и хотел на формовке поработать.

— А если не на формовке, а на вагранке? — спросил начальник цеха, выравнивая по углам сложенные аккуратной стопочкой Валькины документы.

— На вагранке?

— Да. Шихтовщиком. Там у нас есть один, э-э-э, деятель — Паша Долгов, но трудновато ему, мужик уже в годах, да еще с придурью, надо честно сказать, а ты парень молодой, на здоровье, вроде, не жалуешься?

— Не жалуюсь.

Начальник цеха усмехнулся:

—Сколько раз на перекладине подъем переворотом сделаешь?
Теперь усмехнулся Валька.

—Двадцать пять сделаю. Не спрыгивая.

—Неплохо, — сказал начальник цеха и пожевал вытянутыми в трубочку губами. — Я в твоём возрасте делал тридцать.

—Можно и тридцать, — ответил Валька. — Если постараться.

—Что ж, тогда выдержишь. Сразу должен сказать — там тяжело. Самый ответственный участок. Ты техпроцесс знаешь — не будет шихты — не будет металла, не будет металла — не будет литья, как бы формовщики и все остальные ни старались. Так ведь?

—Волков бояться — в лес не ходить.

—Вот это мне нравится. Давай завтра приходи с утра, оформляйся и приступай. Я скажу мастеру, он тебя встретит. Мастер у нас Геннадий Сергеевич Сидорчук, все его зовут просто — Сергеич. Спросишь в цехе. Договорились? — хозяин кабинета встал и протянул Вальке руку.

—Договорились.

Рука у начальника цеха была большой и жесткой. Когда Валька выходил через турникет проходной, радио на площади объявило замороженным голосом: «Вы слушали передачу «В рабочий полдень» и замолкло.

На другой день с утра Валька пришел в цех. Было еще тихо и прохладно. Пахло горелыми стержнями и формовочной землей. У запыленного окна сидели на низкой скамейке литейщики — человек пять-шесть, курили. Валька подошел ближе.

—Здорово, мужики! — бодрым голосом сказал он, разглядывая лица рабочих. Едва ли их можно было назвать приветливыми.

—Здорово, юноша! — ответил за всех худощавый литейщик в глубоко надвинутой на лоб засаленной кепке, удивительно похожий на Егора Ярокудина из шукшинской «Калины красной». Остальные молчали, разглядывали Вальку.

— Ты кто будешь?

—Пополнение к вам, — Валька достал пачку сигарет. — Валентин Ярцев...

—Откуда выгнали? — щуря маленькие сонные глазки, спросил сидящий с краю грузный мужик со шрамом на щеке.

—Из Вооруженных Сил, — усмехнулся Валька. — Сержант запаса.

Толстяк провел большим пальцем по шраму и сказал:

—Сержант?.. Помню, меня однажды забрали в вытрезвитель, так тамошний сержант, зараза...

—После расскажешь, Олимпий, — перебил худощавый. — Садись, юноша.

Валька уселся рядом с ним на скамейку.

—Дай-ка, отец, прикурю.

Мужик протянул Вальке коробок со спичками.

—В отцы-то ты меня рановато записал. Хотя по возрасту, пожалуй, сгожусь, — колючие глаза его изучали новичка. — Меня Виктором зовут. Виктор Сурин, вагранщик. А вот этот толстый боров — Олимпий.

—Что – так и зовут? — удивился Валька.

—Так и зовут, — отозвался с готовностью Олимпий. — Не боровом, конечно, — он засмеялся, и шрам на его щеке переломился на две части, — а Олимпием. Не слышал? Имя чемпионское.

—Чемпион! — хмыкнул сидящий слева от Вальки мужик, лицо которого было сморщено, как печеное яблоко. — Он у нас точно чемпион – по количеству выпитых стаканов!

Олимпий погладил себя по животу и сказал:

—Рекорд – он во всем рекорд. Ты вот, Николай Иваныч, человек уважаемый, но слабый – с двух стопок косеешь, а мне надо два стакана, как минимум, чтобы градус поймать. Жалко, нету чемпионата мира по этому делу, я бы там для Родины золото добывал, рекорды ставил.

—Еще бы, — вставил тот, кого называли Николаем Иванычем, — на халяву и укус сладкий.

—Ладно вам! — оборвал Сурин. Затушив окурок о каблук, он хлопнул по колену мужика со сморщенным лицом: — Николай Иваныч — вот он — у нас главный по формовке. Видал над проходной герб?

Не видел Валька никакого герба, потому что, когда шел через проходную, смотрел на симпатичную девчонку в голубой кофточке и думал, что не плохо было бы с ней познакомиться.

—Герб? — переспросил он. — Какой герб?

—Ты, парень, даешь! Какой может быть герб – Советского Союза, конечно. Со всеми, значит, там колосьями и буквами.

—И что?

—А то – его работа. — В голосе Сурина слышалась гордость, будто это он формовал государственный знак. — Дело, сам понимаешь, тонкое, всякому не доверят. Олимпий вон крышки на люки для канализации штампует по шесть штук за смену, а тут — герб! Олимпий не выдержал:

—Что – крышки? — воскликнул он обиженно. — За штуку — рупь. Шесть рублей за смену. Так-то! Не всем звезды с неба хватать. Словно не слыша его, Сурин продолжал:

—Сколько ты с ним возился, Николай Иваныч? Три дня, если не больше, а он, я тебе скажу, — мастер! Пилотаж высшего класса. Да. Помню, начальство пришло поглядеть, партком, завком, директор даже... Заливаем, как положено, даем остыть. Что ты думаешь — ни одной раковинки!

—Да ладно тебе, Виктор, — махнул рукой Николай Иваныч, морщась печеным лицом. — Нам чё скажут, то и заформуем. Хоть герб, хоть серп. Лишь бы этим серпом опосля по одному месту не чиркнули.

Кто-то на краю скамейки засмеялся.

—Чего прибедняешься-то, награду, небось, получил, — сказал с подначкой Олимпий.

—А то! — серьезно ответил Николай Иваныч. — Грамоту дали да червонец премии. Век не забуду: десять железных рублей, как один. Гуляли всем цехом. Тебе еще Леха с выбивки фингал поставил, помнишь?.. Одним щелчком, между прочим.

Олимпий неопределенно хмыкнул.

—Помню, как же, ты тогда хвалился, мол, таких рублевиков с Лениным наформуешь, сколько хошь.

—Я бы и наформовал, — Николай Иваныч плюнул в ладонь и затушил там окурок. — А Виктор вон залил бы. А, Вить? Было бы чем. Не чугуном же. Пока что из него деньги не додумались делать.

—А жаль, — с чувством сказал Олимпий. — Уж мы бы постарались!

—Ты крышки свои делать старайся!

Между тем Сурин продолжил знакомство.

— Это вон Петро, — он кивнул на мужика средних лет, кото-
рый, прикрыв лицо спортивной шапочкой, похоже, спал, положив но-
ги на опоку. — А тот, видишь, газету читает, это Юрок, пескоструй-
щик с участка выбивки. Он у нас прессу читать любитель. Тебя-то,
как, на формовку прислали?

— Начальник сказал — шихтовщиком, — ответил Валька.

— Она как! — Виктор присвистнул. — Пашке на смену, выхо-
дит. Давно пора. Утомился там Паша. Это хорошо, вместе будем — на
вагранке, — он махнул рукой в сторону, туда, где за формовочным
полем стояла холодная, под самый потолок, печь для плавки чугуна.

Загудел мостовой кран. Валька поднял голову и увидел, как из
кабины выглянула немолодая женщина в спецовке:

— Привет, мальчики! — весело крикнула она.

— Здорово, красавица! — отозвался Олимпий. — Долго
спишь.

— Галина, — сказал Сурин, — крановщица наша. Одна невеста
на всю формовку. Никак за Олимпия не сосватаем. Женский пол у нас
предпочитает стержневой да модельный, где посвежей, а в нашем
«бухенвальде» кроме силикоза ничего не получишь. В дверях цеха
показался невысокий мужчина в пиджаке и при галсту-
ке. Оглядевшись, он направился к скамейке.

— Мастер? — спросил Валька.

— Да, — ответил Сурин и поднялся, держась за спину. — Бро-
сай курить, мужики, пора за работу.

Все поднялись, кроме спящего Петра.

— Ку-ка-ре-ку! — по-петушиному крикнул, склонясь к нему,
Олимпий. Крик получился удивительно похожим на настоящий. Петр,
не торопясь, убрал с лица шапку и, приподняв бровь, посмотрел на
Олимпия:

— Уже получается, Олимпий. Скоро можно тебя запускать!

— Куда? — опешил толстяк.

— Как куда? В курятник. Кукарекать ты горазд, значит, и кур
топтать сумеешь!

Юрок прихлопнул сложенной газетой по голенищу кирзового
сапога и громко захохотал. Засмеялись и остальные, включая подо-
шедшего Сергеича.

—В цирк его надо, а не в курятник, — сказал Сурин и зашагал туда, где матово поблескивал стальной цилиндр вагранки. Близоруко щурясь, мастер смотрел на Вальку.

—Ты, значит, новенький? — тусклым голосом спросил он.

—Я, — ответил Валька и поднялся со скамейки, ростом Сергеич оказался ему чуть выше плеча, и потому говорить приходилось, наклоня голову.

—Ну, пойдем, коли так — с Пашей познакомлю. С ним пока будешь работать.

А цех тем временем ожил. За стеной, на участке выбивки, загудели пескоструйные агрегаты. Словно пулеметная дробь стучала пневмотрамбовка в руках Олимпия, в такт ударам тряслись его живот и щеки. Николай Иванович что-то кричал крановщице, которая медленно опускала перед ним верхнюю опоку метровой величины. Высунув по-детски кончик языка, Петро, стоя на коленях над формой, вырезал гладилкой литники. Сергеич и Валька остановились у вагранки.

—Вот она, кормилица, — кивнул мастер в сторону печи. Валька промолчал, наблюдая за Суриным, который укладывал возле колонны огнеупорный кирпич.

—Процесс у нас такой, — все так же тускло продолжал Сергеич. — Сегодня формовка и заготовка шихты — вагранка в это время отдыхает — завтра — плавка и заливка того, что наформовали. Как дважды два. Понял?

Валька кивнул.

— Говорят, ты техникум по литью окончил?

— Да.

— Ну, так тебя учить не надо, разберешься.

Они прошли через участок выбивки на улицу. Сюда, на примыкающую к цеху территорию, подвозили с других предприятий машинами и сваливали чугунный лом, который шел на переплавку. Шихтовщик Паша, мужик лет сорока, в клетчатой рубаше и кепке козырьком назад был тут. Он грузил на вагонетку сложенные около рельсов детали и мурлыкал песенку.

— Паша, — окликнул его Сергеич, — я тебе помощника привел, принимай!

Паша положил на вагонетку покореженный коллектор и посмотрел на Вальку. Глаза у него под припухлыми веками были бледно-голубые, словно вылинявшие, и часто мигали.

— Здорово, Сергеич, — сказал он и, неторопливо сняв рукавицы, протянул мастеру руку. Потом повернулся к Вальке и важно представился:

— Павел.

— Валентин, — в тон ему ответил Валька.

— Ладно, работайте, — сказал мастер и ушел.

Паша вытащил из нагрудного кармана мятую пачку «Примы», протянул Вальке:

— Куришь?

— Курю, — ответил Валька и, достав «Ту-134», предложил Паше.

— Нет, — отказался тот. — Это дамские. Я свои — покрепче.

Они уселись на груды радиаторов и закурили.

— Откуда к нам? — деловито спросил Паша.

— После армии.

— А-а. Чего сюда-то, в литейку? Получше ничего не нашлось что ли?

— Да, видишь, я техникум до армии окончил, по литью.

Паша уважительно качнул головой.

— Другое дело. Тебя в контору заберут, значит. Дубоносов у нас скоро на пенсию уходит, технолог. Это как пить дать. Да и старший мастер тоже уж в годах.

— Я не спешу.

— Правильно, — оживился Паша. — Чего там сидеть-то? Тут хоть заработаешь побольше, на сделке все-таки. Мышцу, опять же, накачаешь. Во! — он показал бицепс. — Завалка шихты — это дело, брат, не для слабаков. Вдвоем-то будет, конечно, легче, а одному, да в день плавки — мало не покажется... Если еще с похмура... — он подмигнул. — Ты это... Выпиваешь?

Валька затушил сигарету.

— Редко. Так, в выходной с друзьями если, случается.

— Вот и ладно, — Паша вытер ладони о рубаху, словно они были мокрые. — Значит, не брезгуешь?

— Не брезгую.

—Ага. Давай мы с тобой поработаем, а перед обедом поправимся маленько, у меня заначка имеется.

Валька понял, что нужно сразу поставить «точки над и».

—Нет, Паш, ты поправляйся, а у меня голова не болит.

—Ну, гляди, — легко согласился Паша. — Неволить не стану. Чай, не настучишь начальству-то?

—За это можешь не беспокоиться.

—Заметано. Теперь давай я тебе покажу, что к чему.

Паша рассказал, что в день перед плавкой шихтовщик должен заготовить и поднять на верхнюю площадку вагранки чушковый чугуун, лом, стальной скрап и кокс.

—Главное – чушковый чугуун, — обстоятельно говорил Паша. — Вон, видишь, сколь его? Поднять – это полдела, это и дурак сумеет. Сначала надо подготовить. Чушка-то по длине больше диаметра шахты, если целиком ее туда бросить, может заклинить, тогда – «завис». Знаешь, что это такое?

Что такое «завис» в вагранке, Валька теоретически знал. Это когда нижняя часть шихты продолжает плавиться, а верхняя застрянет в шахте и не опускается в зону плавления.

—Наша задача, браток, перетюкать чушки вот этим вот инструментом! — Паша играючи перекинул из руки в руку тяжелую кувалду. — Чтобы потом не мучиться. «Завис» – это полбеда, его пробить можно. А вот если прозеваешь да «козла» в вагранку посадишь, заморозишь её, тут уж беда – печь резать придется. А кто, думаешь, будет виноват, что производство встанет?

—Мы, наверно, — сказал Валька.

—Правильно мыслишь. Значит, нам на вагранке надо глаз остро держать. Видишь, — с удовольствием делился опытом Паша, — вот чушка. Надо так ударить по ней кувалдой, чтобы она разлетелась на три части. Можно это сделать с одного удара? Скажешь, нет? И ошибешься. Можно. Но ты не сумеешь. Пока я не покажу. Тут, брат, силой не возьмешь, надо секрет знать. Гляди. Если чушку положить вот так, а врезать вот по этому месту...

Паша выбрал из кучи чугуна чушку, уложил выпуклостями вниз на обитую жестью площадку, прицелился и взмахнул кувалдой. Удар – и чушка раскололась надвое.

— Малость ошибся, — сказал Паша и взял другую чушку. — И на старуху бывает проруха.

Удар — три ровненьких куска чугуна остались лежать на месте, поблескивая линиями разлома.

— Вот так! — гордо заявил Паша. — Учись, студент! За день три тонны, не меньше. — Он протянул Вальке кувалду. — На, попрактикуйся.

До обеда они «перетюкали» и подняли тельфером на вагранку почти весь необходимый для плавки чушковый чугун. Лом, сталь и кокс оставили на потом.

— Торопиться нам некуда, правильно я говорю? — подвел итог Паша. — Работа не Алитет, как говорится, в горы не уйдет. А организм требует... Так?

Валька пожал плечами.

— Так.

— Вот и я так думаю.

Паша вытащил из емкости, стоящей под лестницей, заткнутую скрученной газетой початую бутылку «Пшеничной» и стакан с засечками на гранях, как позже выяснилось, для точного деления на троих и на четверых, налил в него до первой засечки и спросил:

— Значит, не будешь?

— Нет, — ответил Валька.

— Дело твое, — Паша выдохнул и, дернув головой, выпил. — Хорошо пошла, — сказал он, вытирая слезу в уголке глаза.

Валька улыбнулся.

— Погоди-ка, — Паша вытащил из кармана мять плавленный сырок «Орбита». — Вот и закусон, а ты говоришь!

Скоро водка начала действовать. Потянуло на разговор. Паша покурил и налил еще до первой риски.

— Чугун — ведь это что? — он поднял стакан и замолчал, многозначительно подняв брови.

— Известно, что, — сказал, усмехаясь, Валька. — Сплав железа с углеродом.

Паша кивнул, аккуратно, оттопырив мизинец, вылил в рот водку и на мгновение замер с удивленным выражением лица.

— Вот именно, — наконец выговорил он и понюхал сырок. — С углеродом.

Было понятно, что об этом он слышит впервые.

—Может, все-таки, треснешь малость?

—Обойдусь.

—Ну, гляди, тебе же хуже. Я пока тоже больше не буду, перебор не в моих правилах. Мы меру знаем, верно? Пойдем в столовую, перекусим.

По пути в столовую Паша говорил без умолку. С его слов получалось, что он в литейном едва ли не главный, все его уважают и слушаются вплоть до начальника цеха.

—Я такой, — Паша сжал губы и оттопырил мизинец, — правду-матку в глаза режу, мне терять нечего! — и он ни с того ни с сего затянул какую-то унылую песню:

*...И чему-то глупо улыбается
Старый одноглазый прокурор.*

Валька уже пожалел, что пошел спохмелившимся Пашей в столовую – уж больно его развезло, но тут в очереди на раздачу он увидел ту девчонку в голубой кофточке. Она стояла впереди, человека за четыре, и о чем-то оживленно разговаривала с подругой. Из-под легкой косынки на ее голове выбивалась прядь светлых волос, которую она время от времени поправляла рукой, но та снова падала на щеку. Теперь Валька видел девушку совсем близко, и она ему понравилась еще больше, чем утром.

Они оказались за соседними столиками, и пока Валька думал, как привлечь внимание незнакомки, Паша закричал чуть не на всю столовую:

—Надежда! Мой компас земной! Как давно я тебя не видел!

Девчонки засмеялись, а голубая кофточка отозвалась:

—Паша, тебя еще в ЛТП не отправили?

Паша развел руками, едва не опрокинув Валькин стакан с компотом.

—И почему ты, родное сердце, мне зла желаешь? Вот я тебя люблю всей душой...

—Ты жену люби всей душой!

—Ну, так одно другому не мешает.

Надежда что-то шепнула на ухо подруге и посмотрела на Вальку. Их взгляды встретились, и Вальке стало не по себе. А Паша тем временем продолжал:

— Ты бы лучше познакомила меня с подругой, а? Что-то я ее на заводе не встречал. А я вас с моим помощником познакомлю, — он толкнул Вальку локтем. — Не смущайся, тут все свои. Начальство мне помощника прислало. Так-то. Надо же старшему поколению опыт молодежи передавать? А у Паши Долгова есть чему поучиться!

— Паш, хорош трепаться! — прошептал покрасневший Валька.

— А что? — ничего не хотел слышать Паша. — Что такое? Девушки, разрешите представить — сержант Валентин Ярцев, литейщик с дипломом. Попомните мое слово — после стажировки у Пал Палыча быть ему начальником цеха!

Валька хотел уже встать и уйти, а потом дать Паше по шее, но в этот момент Надежда посмотрела на него таким долгим взглядом, что он застыл, как парализованный, а она сказала негромко:

— Меня Надей зовут, а ее, — она кивнула в сторону подруги, — Верой.

— Вера и Надежда, — обрадовался неугомонный Паша. — А где Любовь? Одной не хватает...

— Любовью твою жену, Паша, величают, и вон она, кстати, идет, — сказала весело Надежда, и обе девчонки засмеялись. Паша испуганно оглянулся. От двери к их столику шла крупная женщина в темно-синем халате. Грозный взгляд ее был устремлен на Пашу, который сжался и стал быстро хлебать борщ.

— Ну-ка, погляди на меня, алкаш! — проговорила женщина густым басом. Интонация ее голоса не предвещала ничего хорошего.

— Погляди-погляди, давно не виделись!

Паша поднял лицо от тарелки и, моргая, посмотрел на жену. Глаза его повело в сторону.

— Уже налил zenки, паразит! — зловещим шепотом сказала Пашина жена. — Ну, придешь ты у меня домой!

Монументальная фигура женщины заслоняла свет. Валька уткнулся в тарелку. Он слышал, как смеются Надежда и Вера, но боялся поднять на них глаза, чтобы тоже не расхохотаться. Паша не вымолвил ни слова. Когда, величественно обходя Столики, жена скры-

лась из глаз, он быстро вернулся в прежнее состояние и хвастливо заявил Вальке:

— Чё с бабой разговаривать? Их вот так держать надо! — он поднял над тарелкой с борщом сжатый кулак.

За время обеда Валька и Надежда не раз встречались глазами, и он решился подсесть за соседний стол. Вера, собрав пустую посуду на поднос, ушла, многозначительно посмотрев на подругу. Зная, что Паша все равно не даст поговорить, Валька сразу приступил к делу.

— Я подожду тебя после работы у проходной? — спросил он девушку.

— Ладно, — ответила она.

К столику уже направлялся Паша.

— Ага, я вот скажу жениху-то, — он раскинул руки, словно хотел поймать Надежду в объятия, но та ловко увернулась и легкой походкой пошла к выходу.

— Ты, Паш, что-то не на шутку разошелся, — сказал Валька.

— Уймись.

— Да ладно тебе! Я же шучу. Но парень у нее имеется, точно знаю. Может, и не жених, однако везде за ней ходит — Серега Кулаков. Кликуха— Кулак. Заводно-ой! Недавно срок отмотал за драку. Если что — скажи, дескать, меня знаешь, и все будет тип-топ. Но связываться с ним не советую.

Паша явно трезвел. Храбрость выветривалась из него вместе с хмелем.

— А она? — спросил Валька, провожая взглядом девушку.

— Что — она?

— Где работает?

— А-а, так это — в модельном, табельщица. За ней тут полза-вода хвостом ходит, девка красивая.

— Сам вижу, не слепой.

Остатки обеденного перерыва Валька провел с формовщиками, а Паша прилег под лестницей на крохотный топчанчик и сразу захрапел.

Проснулся он хмурый и до конца дня работал молча, только тяжело вздыхал, да пару раз приложился к заветной бутылке. После смены, приняв душ, Валька поспешил за проходную. Он занял позицию у газетного киоска и стал ждать. Но удача ему в этот день

больше не улыбнулась. Не успела Надежда появиться, как рядом с ней, откуда ни возьмись, оказался невысокий коротко остриженный парень в яркой рубашке навыпуск. Наверно, это и есть Кулак, подумал Валька. Ну, и что будем делать, товарищ сержант? Он закурил и пошел навстречу парочке. Девушка заметила Вальку, но не подала виду, взяла спутника под руку и прошла мимо. Валька усмехнулся и затоптал на асфальте почти целую сигарету. Ничего, сказал он себе, еще не вечер!

Когда на следующий день Валька пришел в цех, формовщики уже сидели на прежнем месте у окна и о чем-то жарко спорили.

—Вы, что, мужики, домой совсем не уходили? — пошутил он.

Навстречу ему вскинулся Олимпий:

—Вот, — обрадовано воскликнул он, трясая щеками. — Вот сержант у нас ученый, он пусть и скажет.

Николай Иванович махнул рукой:

—Чё тут говорить-то!

—Нет уж, пускай!

Валька уселся на скамейку и спросил, в чем дело. Объяснил Сурин.

—Спор у них, видишь, получился, — сказал вагранщик. — Какое дело древнее — кузнечное или литейное?

—А им-то не все равно? — пожал плечами Валька.

—На принцип пошло, — пояснил, отложив газету, Юрок. Сурин согласно кивнул.

— Начальство вчера Николая Ивановича озадачило — ограду какую-то уникальную формовать.

—На памятник погибшим? — спросил Валька, вспомнив разговор с начальником цеха.

—А ты откуда знаешь? — удивился Николай Иванович.

Валька махнул рукой:

—Да так, слышал кое-что.

—Ну так вот, — продолжал Сурин, — эти два чудака и распорились. Олимпий говорит, что ограды всегда кованые были, а Николай Иванович— дескать, и литые делались. И пошло-поехало!

—Между прочим, — сказал Николай Иванович, — ограда — будь здоров! Я чертеж смотрел. Это тебе не на могилку любимой тещи. Кружева вологодские, да и только! Я таких не видал.

— Потому что ограды во все века ковали, — упрямо вставил Олимпий.

— Знаток хренов! — отмахнулся Николай Иванович. — Не спорю: как поросят кастрировать ты лучше всех знаешь, а уж про литьё помолчал бы!

— При чем тут поросята! — обиделся Олимпий, а Сурин пояснил Вальке, что Олимпий до литейного был ветеринарным врачом в колхозе, да в чем-то про штрафился и в результате оказался здесь.

— Так кто из них прав все-таки, если по науке? — спросил Петро.

— Оба правы, — сказал Валька.

— Это как — оба? — подал голос Леха, обрущик с участка выбивки.

— А так, — продолжал Валька. — Если говорить про ограды, то они делались и ковкой и литьем. Чугун-то ведь не куется, а, Олимпий?

— Знамо, не куется.

— Вот поэтому сначала были ограды или деревянные или кованные из железа. Литые появились в петровское время.

— При Петре Первом, что ли? — спросил Юрок.

— Нет, нашем! — сострил Олимпий и сам засмеялся.

— Да погоди ты, балабон! — оборвал его Сурин. — Дай человеку рассказать.

Валька продолжал:

— Бывал кто-нибудь в Ленинграде?

— Я бывал, — сказал Петро. — С женой ездили после свадьбы.

— Видел, сколько там чугунного кружева?

— Ну... — замялся Петро, — мы это... Больше по магазинам. Баба есть баба...

— Медного всадника хотя бы видел?

— Всадника видел.

— А Смольный?

— Сказал тоже, — опять не удержался Олимпий. — Кино надо смотреть — Ленин в Смольном!

— Уймись, Олимпий, не мешай!

— Я его шас уйму! — привстал Лёха.

— Решетка Смольного отлита по проекту знаменитого архитектора Растрелли, как и ограда у дворца графа Воронцова, — продолжал Валька. — Там, в Ленинграде, вообще много чугунного литья — у Казанского собора, у дворцов — Аничкова, Елагина, Таврического — все решетки литые. Вот где кружево, Николай Иваныч! А мосты? Мостов-то видал, сколько? — обратился он к Петру.

Тот вздохнул:

— Да-а, мостов там полно...

— Вот именно. И на всех литые решетки из чугуна. Если их все составить одна к одной, получится забор больше десяти километров в длину.

— Да-а...

— А я так за всю жизнь в Ленинграде и не был, — с сожалением сказал Николай Иваныч. — В Москве, правда, бывал.

— В Москве чугунного литья меньше — стиль города другой, но и там есть, конечно. Зато в чугунных оградах Петергофа, Пушкина и Павловска настоящие гербарии отлиты — венки, гирлянды... — Валька еще продолжал бы экскурс в историю художественного чугунного литья, но тут со стороны участка выбивки подошли начальник цеха с Сергеичем, и он замолчал.

— То-то, Олимпий, а ты говоришь! — сказал Николай Иваныч.

— А что я говорю? — Олимпий развел руками. — Что я говорю? Только то, что кованые ограды были раньше литых. И выходит...

Увидев начальство, Олимпий умолк на полуслове.

— Между прочим, — вспомнил вдруг Лёха, — на бутылку спорили.

— Ну так что? — возразил Олимпий. — Ничья.

— Раз ничья, — сказал Лёха, — значит с каждого по пузырью.

— Ага! — Олимпий прищурился. — Раскатил губу!

Все засмеялись и стали расходиться.

— погоди, Николай Иваныч, — остановил формовщика начальник цеха. — И ты, Валентин, тоже. — Дело есть, — он подождал пока все разошлись, и продолжил. — Будем за ограду для памятника браться, а, Николай Иваныч?

— А что не взяться-то? — ответил тот. — Сделаем.

—Тут, понимаешь, задача ответственная. Памятник погибшим обновили, сам, наверно, видел, ну и ограду решили литую поставить, а она, сам видел, не из легких...

—Так уж День-то Победы прошел, май на исходе...

—Видно, поздно додумались, а теперь хотят ко дню начала войны поставить. Да и не нашего ума это дело.

—Само собой. Наше дело – делать.

— Вот именно. В твоих руках, Николай Иванович, честь литейного цеха. Сумеешь сделать-то?

—Постараемся, гражданин начальник! — усмехнулся старый формовщик. — Вон, молодежь-то, — он кивнул на Вальку, — какие нам лекции читает, так что и мы рожей в грязь не ударим. Начальник цеха посмотрел на Вальку.

—Молодец! Видно, что уроки не прогуливал. И твои знания пригодятся. Проверим на практике.

—Да какие у меня знания! — пробурчал Валька.

—Ладно, — начальник цеха обратился к мастеру. — Давайте думать, как будем выполнять заказ.

Тот пожал плечами.

—Решетки формовали раньше в земляном полу, — сказал Валька. — Я читал: вдавливали модель в сырую землю...

—Вот мы про все это и подумаем, так, Николай Иванович?

—Подумаем, — ответил тот коротко. — Одна голова – хорошо, а, — он обвел всех глазами, — а три, нет, четыре – лучше.

—Голова — это полдела, тут опыт нужен, руки, так сказать. Николай Иванович поднял руки ладонями вверх.

—Какие есть.

Паша, все такой же хмурый, как вчера, уже загружал в подъемник кокс.

—Ты там речи толкаешь, — сказал он Вальке, — а люди тут вкалывают!

—Так время же еще не вышло, — попытался возразить Валька, но слабопохмеленныйшихтовщик уже разошелся.

—А что нам время? — недовольно бурчал он, загребая совковой лопатой кокс, — время работает не на нас. Вон дела-то сколько! — и подвел итог. — Раньше сядешь – раньше выйдешь...

Валька, осознав всю глубину изреченной Пашей житейской мудрости, не нашел, что ответить, и молча взялся за лопату. К обеду они подняли на вагранку всю необходимую для плавки шихты. Внизу на формовочном участке заканчивались последние приготовления. Кто-то прокалывал душником формы, кто-то уже отдыхал на скамейке у окна, вагранщик Сурин с мастером осматривали большие ковши для крановой заливки.

—Ну вот, — сказал Паша, с довольным видом оглядывая площадку, заваленную шихтой так, что свободного места почти не осталось, — все в ажуре. Скоро погреемся. Я пойду пока, это... похмелюсь маленько.

Он шустро спустился по винтовой лестнице со стороны участка шихты и исчез за штабелем чушкового чугуна, где у него была припрятана бутылка портвейна «Кавказ». Через пару минут вернувшегося Пашу было не узнать: черты лица разгладились, в глазах появился блеск, и вся его изрядно помятая физиономия излучала радость. «Больше половины выпил», — подумал Валька и спросил:

—Полегчало?

—Порядок в танковых войсках, — бодро ответил Паша, вытирая губы рукавом рубахи. — Обедать пойдешь?

Валька подумал, что в столовой опять встретит Надежду, и у него стукнуло сердце, но после того, как вчера она сделала вид, что его не знает, Вальке не хотелось с ней встречаться.

—Нет, — ответил он Паше, — не пойду, посплю лучше.

—Смотри, — сказал тот и ушел, напевая все ту же песню, похоже, единственную, которую знал, да и то всего один куплет:

Суд идет. И наш процесс конча-а-ется.

Судьи нам выносят пригово-ор.

И чему-то глупо улыбается

Старый одноглазый прокуро-ор.

Паша так старательно и задушевно выпевал слова, что казалось, будто это он сам сидел на скамье подсудимых и видел глупую улыбку одноглазого прокурора. Валька смотрел ему вслед, пока он не скрылся за воротами цеха.

Из формовщиков мало кто ходил на обед в столовую, перекусывали в раздевалке, за общим столом, а потом одни укладывались подремать, другие стучали костяшками домино, непрерывно куря и поругиваясь без злобы, а то просто сидели, разговаривали.

— Выпей чайку, — сказал Сурин Вальке и налил в стакан из термоса настоявшегося до черноты чаю. — Чего на обед-то не пошел?

— Да так, — отмахнулся Валька.

Петро подвинул ему нарезанный ломтями пирог с рыбой и сказал:

— Ешь давай, студент!

Олимпий с набитым ртом рассказывал анекдот: — «Что за рулон?» — спрашивает. А хохол: «Трошки сала везу!» Тот, значит, разворачивает — три метра. Ё-моё! «Как же ты, — говорит, — такого кабанчика вырастил?» — Олимпий сделал паузу. — А хохол отвечает: «Так я ему задние ножки в тазике забетонировал, а кормушку отодвигал — вот он и вытянулся!»

Стены раздевалки вздрогнули от дружного хохота.

— Тихо вы, придурки! — приподнял голову любитель поспать Петро, прикорнувший тут же в уголке на телогрейке. Но его никто не слышал.

— Кстати, отрежь-ка мне сальца, — сказал Олимпий Николаю Иванычу. — Уж больно сало у тебя доброе!

Все опять засмеялись, а Николай Иваныч подвинул Олимпию на белой бумаге нарезанное тонкими ломтиками сало.

— На, утроба ненасытная, ешь!

Олимпий сделал бутерброд, в котором слой сала оказался толще слоя хлеба и, уплетая за обе щеки, заговорил:

— Слушай сюда: мается, это, медведь с похмелья...

Героями всех анекдотов Олимпия были животные. До конца обеденного перерыва Валька так нахохотался, что заболел затылок. Наконец из-за стола поднялся Сурин.

— Ладно, мужики, — сказал он, — время вышло.

Поднимаясь на вагранку со стороны формовочного участка, Валька считал ступени. Их оказалось двадцать две. Паша сидел на куче кокса, курил.

— Вот, голова, — сказал он, хитро улыбаясь, — не пошел в столовую, а зря — Надька-то про тебя спрашивала: где, говорит, Паша, твой стажер? Я ей: не выспался, видно, сегодня — спать улегся. А она: гулял, наверно, всю ночь? Конечно, отвечаю, а ты думала, шихту заготовливал? До третьих петухов гулял, чуть на работу успел. А что — дело молодое...

— Ничего другого не мог, что ли, придумать?

— А чего мне думать? У меня мозги не для этого приспособлены.

— Ну да, — сказал Валька. — Конечно.

Паша затушил окурок и бросил его в открытое загрузочное окно вагранки.

— Ладно, — сказал он. — Смотри: сейчас загрузим холостую колошу, то есть один. Сурин запалит дрова, и когда вагранка прогреется, будем заваливать рабочие колоши.

Накидаешь в печку сколь положено — вот тут на доске мелком палку нарисуешь. В конце плавки будет ясно, сколько колош мы загрузили. И всех делов! Такая, значит, бухгалтерия.

— Ясно, — ответил Валька.

Скоро им стало не до разговоров. Один швырял в огнедышащее жерло вагранки кокс, другой в это время отправлял туда же чушковый чугун, куски марганца, стальной скрап, предварительно взвешивая на весах. Потом менялись. После двух-трех колош Паша разделся до пояса.

— Главное-то чуть не забыл! — стукнул он себя по лбу и достал из угла длинную тяжелую кочергу с изогнутым концом. — Вот он — наш контрольно-измерительный прибор!

— И что он измеряет? — спросил Валька, глотая соленую газировку из чайника.

Паша аккуратно опустил в загрузочное окно вагранки кочергу так, что примерно полметра осталось торчать наружу.

— Глади на неё, — сказал он.

Валька посмотрел на кочергу.

— Ну и что?

— Видишь, она ползет вниз?

— Вижу.

—Это значит, плавится шихта, а как заметишь, что встанет, проверяй – может быть «завис». Тогда шуруй этой кочережкой, что бы его пробить. Понял?

—Что ж тут не понять.

—Ну так попробуй, бери инструмент.

Валька ухватился за железный изгиб, отполированный до блеска руками шихтовщиков. Кочерга оказалась весьма тяжелой и «щуровать» ей было совсем не просто.

—Давай-давай, — подзадоривал Паша, проливая из чайника на голую грудь теплую газировку. — Не жалея силы, браток, здоровей будешь!

Валька обливался потом и силы не жалел.

—Что, жарко? — спросил, белея зубами, Паша.

—Ташкент!

—Интересно, сколько там? — Паша кивнул на завалочное окно, в котором багрово светился плавящийся металл.

—Больше тысячи градусов, — ответил Валька. — Температура плавления чугуна тысяча двести, а стали – полторы тысячи.

—Во-от. И снаружи не меньше полтинника. А мы ничего, не плавимся!

—Не знаю, как ты, а я так скоро расплаволюсь, — сказал Валька и встряхнул на себе прилипшую к телу рубаху.

—Ничего. Только кости прогреешь, в парную не надо ходить. Человек ко всему привыкает. Это я тебе говорю. Поначалу я тоже тёлк, как парафиновый.

—Ну, теперь ты вольфрамовый! — засмеялся Валька. Паша хмыкнул.

—А какая у него температура?

—У вольфрама?

—Ну да.

—Три с половиной тыщи.

—Ишь ты! — с восхищением сказал Паша и заглянул в завалочное окно. — Значит, там не расплавится?

—Нет, не расплавится.

—Ладно. Мы тоже не расплавимся. Ты тут покидай, а я схожу, отмечусь маленько, а то я хоть и вольфрамовый, башка все равно болит.

Время до конца смены пролетело незаметно. Только один раз Валька спустился из люка на пять ступенек, и пока курил, посмотрел, как идет заливка. В это время Виктор Сурин выбил нижнюю лётку, и по желобу рванулась из вагранки в подставленный ковш огневая струя жидкого чугуна, рассыпая по сторонам звездчатые брызги.

Вчерашние формовщики, почти все голые по пояс, в брезентовых штанах, натянутых поверху на голенища сапог, чтобы не залетела туда капля горячего металла, и в войлочных шляпах по двое разносили по участку и разливали в формы чугун, сноровисто наклоня ковшки над опоками, так что струя точно попадала в литниковую систему.

Смотреть на их слаженную работу было приятно, но Паша не дал Вальке расслаживаться. Да и действительно, дел на завалке и двоим было по горло. Валька устал и вспотел, как мышь, так что рубашка на спине вся стала белой от выступившей соли. Не зря Паша раздевался. Оба были чумазые — только глаза да зубы белели на темных лицах.

—Ну, как работенка? — спросил Паша.

—Нормально, — ответил Валька, чувствуя, как дрожат от усталости колени.

Они завалили в вагранку двадцать восемь колош. В душевой Валька ожил. Как только струи воды ударили по телу, усталости будто и не бывало.

—Ничего, привыкнешь, — говорил за перегородкой Сурин, фыркая и отплевываясь как морж. — Через год как Лёха будешь — любой «завис» играючи...

—Эх, вы, мускулы стальные! — громко и фальшиво пропел Олимпий. Над его кабинкой клубился пар — бывший ветврач любил кипятки.

—Нет уж, пускай кто-нибудь другой мышцу растит на завалке, — сказал Валька. — Я формовать хочу научиться.

—Научишься, чего там! — послышался голос Николая Иваныча. — Ты, гляжу, парень способный. К нам сейчас мало кто идет по доброй-то воле...

—Да ладно, — перебил Олимпий. — Его технологом поставят или мастером, помяни моё слово.

Валька усмехнулся, а Олимпий продолжал:

—Как пить дать. А после начальником цеха станешь. Раздался голос Сурина:

—Не тебе же, Олимпий, литейкой командовать.

—Я и не претендую. А между прочим, с кого-то причитается, угадайте — с кого?

Валька завернул вентиль.

—Я помню, — сказал он. — Не заржавеет.

—Олимпий! — возмущенно воскликнул Николай Иваныч. — Побойся Бога. Парень нынче ноги еле тащит. Ты, Валь, его не слушай. В другой раз...

—Чего это мне Бога бояться? — возразил Олимпий. — Я никого не боюсь, кроме жены. А откладывать такое дело нельзя. Я помню, с меня вы, паразиты, не слезли, пока не поставил, а тут — «в другой раз»! Нет уж!

Валька решил купить в ближайшем магазине пару бутылок водки и потом встретить мужиков у проходной, но там его поджидала Надежда.

—Обиделся, что ли? — спросила она весело, и Валька тут же забыл все свои обиды, а так же и то, обещал выпить с литейщиками за первую плавку.

—Нет. Чего мне обижаться?

—Ну и хорошо. Сережка — он дурной. Еще драться бы полез на тебя...

—Я не из пугливых.

—Ишь ты! Да ну его совсем! — девушка рассмеялась и сказала, поправляя прическу. — По мороженому?

—Идет! — ответил Валька, слушая, как громко стучит в груди сердце. Но все же спросил:

— А где сегодня твой ухажер?

Надежда подняла на Вальку глаза. Они были синие, как небо осенью.

—Уехал. Не будет его.

—А что же завтра?

Она засмеялась:

—Поживем — увидим, — и загадочно добавила: — От тебя зависит.

В стеклянном кафе, которое стояло рядом с проходной, и которое все ласково называли «стекляшкой», толпился народ. По традиции после смены сюда заходили не только за мороженым, но и попить бочкового пива. Участок формовки-заливки почти в полном составе был здесь.

—Во! — воскликнул Сурин, хлопая Вальку по плечу. — Ты чего нас не дождался?

В колючих глазах вагранщика светились веселые искорки.

—Слинять хотел, да не вышло! — сказал Олимпий и подмигнул. Его было не узнать — умытый, причесанный, в полосатом пижаке и свежей рубашке, экскветеринар походил больше на инженера по технике безопасности, чем на формовщика цеха чугунного литья. Не хватало темненького галстука с заколкой, да мешал рваный шрам через всю щеку, придававший добродушному Олимпию разбойничий вид.

Валька заказал два мороженных с орехами и, повернувшись к литейщикам, сказал:

—Мужики, дядь Вить, не отвергаюсь. В следующий раз по сто грамм и кружке пива за мной. Но не сегодня, — он кивнул в сторону, где за столиком под репродукцией картины Репина «Бурлаки на Волге» сидела Надежда.

Все как один повернули головы:

—Ого! — на весь зал басом произнес Петро.

А Олимпий, ухмыляясь, сказал:

—Ты, парень, гляжу, времени зря не теряешь! Молодец. Я тоже, брат, помню, в свое время...

—Коров лечил! — подсказал Юрок и ударил по спине Олимпия сложенной газетой.

—Сам ты – корова! — обиженно ответил тот и замолчал, поглаживая шрам на щеке.

Валька попрощался с товарищами и, подхватив вазочки, понес мороженое за столик к Надежде. В кафе было душно и сильно накурено, да еще громко играла музыка, поэтому засиживаться тут не было никакого желания.

Уходя, Валька махнул рукой литейщикам, которые сидели за крайним столиком у окна и пили из кружек пиво со сметаной – «любимый напиток людей огненной профессии», как говорил Олимпий,

утверждавший, что в этом коктейле полно калорий — больше, чем в мясе и рыбе вместе взятых.

До позднего вечера Валька с Надеждой бродили по пустынной набережной вдоль Волги. Шелестела молодая листва на деревьях. Было тепло и тихо. Литая волна, пронизанная лучами заходящего солнца, плавно набегала на берег. Откуда-то издалека, должно быть, с танцплощадки, доносилась песня: «Хочешь я в глаза, взгляну в твои глаза...».

И Валька заглядывал в девичьи глаза, синева которых к ночи становилась все темней, и тонул в них.

— Расскажи мне о себе, — попросил он Надежду, когда они уселись на одну из скамеек на берегу под липой. Девушка помолчала, собираясь с мыслями, потом начала говорить:

— В общем-то, и рассказывать нечего. Выросла здесь. После школы не поступила в институт, так оказалась на заводе.

— А куда поступала?

— В Москву. Родители были против, но все же отпустили. Мне очень хотелось, да и сейчас хочется, стать логопедом...

— Кем? — переспросил Валька.

— Логопедом. Это и педагог, и врач, который лечит и учит детей с дефектами речи.

— Ничего себе! — искренне удивился Валька. — И тебе охота этим заниматься?

— Да, — коротко ответила Надежда и больше ничего не добавила.

— Ну, извини, — он пожал плечами. — Я не думал... Я даже не знал, что есть такая профессия.

— Есть. Я детей люблю и хочу учить их говорить... Ну, тех, кто не может... Я ведь уже два раза ездила поступать и все никак — там конкурс огромный. В прошлом году мне не хватило всего полбалла. Скоро опять поеду, я своего добьюсь!

— А почему в Москву, поближе ничего, что ли, нет?

— Нет. На логопеда только там учат... А ты? Почему ты в литейку пошел?

С Волги потянуло прохладой. Далеко на фарватере шел по вечерней воде маленький белый пароход. Валька коснулся руки девушки.

—Профессия такая у меня, — сказал он. — Я техникум окончил — литье цветных металлов и сплавов.

—Да-а?..Что же ты у Паши на стажировке?

—Ну его, болтуна. Ни на какой не на стажировке. Просто пока шихтовщиком поставили. А мне самому интересно...

—У нас в литейный только нарушители попадают, — повторила Надежда, не зная того, слова начальника цеха и с усмешкой посмотрела на Вальку.

—Так что? В нарушители попасть нетрудно, и никто не застрахован, между прочим. Литейщики — нормальные мужики. Они знают свое дело и любят по-своему. Герб над проходной видела? Вот так. Это, чтобы ты знала, наш Николай Иванович формовал. — Валька сказал про герб с гордостью, будто сам принимал участие в его изготовлении. — Не хухры-мухры. А сейчас он будет ограду делать к памятнику погибшим на войне...

—Ладно-ладно! — засмеялась Надежда. — Литейный цех защищен!

—Мне, правда, нравится в литейном, — заговорил Валька серьезным тоном. — У нас, когда я учился в техникуме, практика была на последнем курсе. Кто в алюминиевый, кто в магниевый, а я в чугунный попросился. Один раз увидишь, как из вагранки выпускают чугун, как огненная струя падает в ковш — всё, влюбишься до смерти!

—Ты всегда так?

—Что? — не понял Валька, увлеченный рассказом.

Надежда усмехнулась:

—Влюбляешься с первого взгляда?

—А как же еще? Конечно. Влюбляться только так и можно. А у тебя по-другому?

Девушка пожала плечами. Вальке стало неудобно за свой дурацкий вопрос, и, не зная, что сказать, он вернулся к теме:

—Литьё, знаешь, это самая древняя профессия...

—Ну уж! — улыбнулась Надежда. — Самой древней называют другую.

Валька покраснел, но в сумерках это было не заметно. Что это я сегодня, подумал он, всё не в ту степь?

—Одна из самых древних, — поправился он. — Еще три тысячи лет до нашей эры в Индии знали литьё по выплавляемым моделям — их делали из воска. Представляешь, это же почти пять тысяч лет назад! Из бронзы оружие отливали, украшения разные. Древнегреческие статуэтки — глаз не отведешь! Я видел на выставке. И не только из бронзы. Археологи раскопали столицу Шумерского царства и нашли голову быка — из золота.

—Тебе бы лекции читать! — засмеялась Надежда.

—Да ну, — махнул Валька рукой, — какие там лекции, просто мне интересно.

—Мне тоже. Когда ты рассказываешь.

—Да? — Валька заглянул ей в лицо. Золотистые локоны коснулись его щеки, Валька вдохнул их туманящий голову аромат и едва сдержался, чтобы не обнять Надежду.

Она смотрела прямо на него. Валька сглотнул слюну.

—Есть и из чугуна произведения искусства, — глухо сказал он и с ужасом подумал, что говорит совсем не то, что нужно сейчас говорить, но неведомая сила заставляла его произносить слова, содержания которых Валька уже не понимал, будто кто-то другой говорил вместо него.

—Шестиметровый чугунный лев...

Девушка вздохнула.

—Шестиметровый чугунный лев в Цзянь-Чжоу — самая большая отливка... — вялым голосом произнес Валька и замолчал. Мимо них прошла парочка с портативным магнитофоном. Из охрипших динамиков с надрывом вырывался голос Градского:

*Как молоды мы были, как молоды мы были,
Как искренне любили...*

Давно село за рекой солнце, и на небе появились бледные звезды. В садах гремели, умирая от любви, в конец обалдевшие соловьи. Валька так и не решился поцеловать девушку, но, прощаясь с ней у дома, почувствовал, как кружится голова и дрожат колени — сильнее, чем в цехе после плавки.

Он постоял под топодем, пока не погасло окно в квартире на втором этаже, где жила Надежда и только тогда отправился домой.

— Жизнь прекрасна и удивительна! — сказал он не ложившейся спать матери, прошел в свою комнату, повалился на кровать и сразу уснул как убитый.

Утром в цехе его ждала неприятность — Паша не вышел на работу.

— У него бывает, — сказал Сергеич и многозначительно провел ладонью по горлу. — Придется тебе одному сегодня поработать, Валентин. Такое дело. А там, глядишь, завтра Паша объявится.

Сурин тоже приободрил парня:

— Глаза боятся, а руки делают. Привыкай. Паша все равно не работник — рано или поздно сбежит.

— Так и я вообще-то хотел на формовке работать, — недовольно сказал Валька.

Сергеич усмехнулся, а Сурин ответил:

— Всеу своё время, юноша. Пока ты на передовой нужен.

Валька вытянул губы в трубочку точь-в-точь, как начальник цеха. Сурин захохотал, а Сергеич улыбнулся и покачал головой. Валька впервые увидел, как мастер улыбается. Формовщики занимались своими делами, не было только Николая Иваныча — ушел посмотреть, как делают модель ограды. Валька покурил с Суриным за вагранкой и отправился колоть чугунные чушки. Пашин метод работал — чушки послушно распадались на три части, так что колоть их даже доставляло удовольствие.

Намахавшись кувалдой, Валька думал — пойти на обед или не пойти — и пошел, конечно. Надежда с Верой сидели за тем же столиком, что и позавчера. С ними оживленно болтал какой-то парень, но одно место было свободно, и Валька занял его.

— Ты откуда такой борзый? — спросил парень и посмотрел на Вальку белыми глазами.

— Из литейного, — ответил Валька, понимая, что ввязывается в ссору.

— Литейщики тут не прописаны.

— Я пропишусь.

— Уверен?

— Угу. Мне тут понравилось, — Валька глотнул сока и стал есть суп.

— Зато мне не понравилось, что ты здесь уселся.

—Серьезно? — насмешливо спросил Валька. — Так пересядь. На какое-то время наступила тишина. Наконец парень стал медленно приподниматься с места, и Валька положил ложку.

—Толик! — Вера схватила парня за руку. — Перестань! Тот неожиданно послушался девушку и сел.

—Ладно, — сквозь зубы проговорил он. — Я тебя запомнил. Еще встретимся.

Валька принялся за второе.

—Согласен. Может, в кино сходим? — издевательским тоном сказал он.

Парня затрясло.

—Погоди, ты у меня поговоришь!

Все замолчали. Вскоре Вера с Толиком ушли, и Валька спросил Надежду:

—Это кто?

Девушка вздохнула.

—Так... Приятель Сергея.

—А-а, — усмехнулся Валька. — Значит, точно встретимся.

Надежда улыbnулась и посмотрела на Вальку своим долгим синим взглядом, а он, испытывая непонятную радость, сказал:

—Так, действительно, может, сходим в кино?

Она звонко рассмеялась.

—С тобой не соскучишься!

—Вот и я говорю! Так как насчет кино?

Рабочий день показался Вальке еще короче предыдущего, потому что дел на загрузке шихты одному было невпроворот. Пару раз подходил Сурин, поглядывал — не надо ли чем помочь, но Валька вполне справлялся сам, только с опасением думал о завтрашнем дне — вдруг не выйдет Паша, как без него во время плавки?

В кинотеатре «Центральный» на последний сеанс народу как всегда собралось много, потому что кроме кино и танцев других развлечений для молодежи в городе не было. Сегодня показывали старый французский фильм «Двое в городе» с Жаном Габеном и Аленом Делоном, которых Валька с детства любил еще по фильмам «Отверженные», «Черный тюльпан», «Вы не все сказали, Ферран». Вскоре подошла Надежда. На ней была голубая кофточка, в которой Валька увидел её в первый раз тогда, у проходной, и которая удивительно

шла к ее глазам. Золотистые волосы были распущены по плечам, а туфли на модной платформе делали девушку выше и стройнее. Валька глубоко вздохнул и подумал, что он самый счастливый человек на свете. По крайней мере, сегодня.

Зал до слез сочувствовал герою Алена Делона, а Валька осторожно держал в своей руке мягкую руку Надежды и слышал только, как громко колотится в груди его сердце.

После кино – по-прежнему рука в руке – они пошли окружным путем к Надеждиному дому. Через какое-то время девушка заговорила:

—Валь... Я не знаю... Завтра Сережка приезжает. Он – дурной, говорит, влюбился и ревнует ко всем – прямо бешенный какой-то... Валька помолчал, потом спросил:

—Он тебе нужен?

—Нет...

—Вот и ладно. Не думай больше.

—Да ведь проходу не дает. У меня уж и отец с ним говорил, чтобы он меня оставил — ни в какую! Я за тебя переживаю, он ведь...

—Не переживай. Я, между прочим, в морской пехоте служил, там нас не лаптем щи хлебать учили, как-нибудь да сумею за себя постоять. А за тебя – тем более.

Они остановились возле тополя. Сейчас или никогда, подумал Валька и слегка потянул девушку за руку к себе.

Она сделала шаг навстречу и подняла голову. Отражавшийся в её глазах свет уличного фонаря показался Вальке звездой первой величины. Эта звезда вспыхнула следом за ударом сердца, и Валька прикоснулся губами к горячим губам Надежды. Оба не знали, да и не могли знать, что это их первый и последний поцелуй. Девушка ловко выскользнула из Валькиных объятий и, махнув на прощанье рукой, исчезла за дверью.

Утром Валька чуть не проспал. Будильник аж подпрыгивал на столе, надрываясь от звона, но Валька его не слышал. Перед пробуждением ему приснился дурацкий, неприятный сон: будто его укладывают в опоку, чтобы заформовать, руки и ноги у него связаны, рот заткнут какой-то мокрой шерстяной тряпкой, так что он не может закричать. Вот уже засыпают землю. Тяжелая, маслянистая, она попадает ему в глаза, в нос, покрывает руки, ноги – все тело. Вальке и

страшно, и противно до тошноты. Тут же стоят формовщики – Николай Иваныч, Юрок, Олимпий, Петро, чуть в стороне – вагранщик Сурин и гигант Леха с участка выбивки, даже пьяненький Паша выглядывает из-за спины Сергеича и чему-то глуповато улыбается, подмигивая то одним, то другим глазом. Все молча и как бы осуждающе смотрят на беспомощного Вальку. Наконец кто-то крикнул: «Вира помалу!» и сразу раздался оглушительный звон – это крановщица Галяна опускает верхнюю опоку, чтобы накрыть Вальку, и он понимает, что, если это случится, ему не выбраться никогда. Валька из последних сил рванулся и... слава Богу, это был сон!

Турникет в проходной он прошел за секунду до сигнала. Предстоял горячий денек. Если Паша не вышел и сегодня, то, как говорится, сливай воду.

Валька вспомнил огненное жерло вагранки, неумолимо поглощающее шихту, и потряс головой, отгоняя видение. Ну еще бы пару раз вместе с Пашей, потом было бы уже не страшно. Ладно, подумал Валька, выходя, переодевшись, в цех, как-нибудь да будет. Конечно, Паши не было.

— Это, считай, до понедельника, — махнул рукой Сурин. — Паша есть Паша. Надо его знать.

Век бы его не знать, подумал про себя Валька, а вслух сказал:

— Ничего, справимся.

— Тебе Паша главный инструмент показал? Валька вопросительно посмотрел на вагранщика.

— Кочергу! — с усмешкой сказал тот.

— А-а, показал.

— Вот и не забывай про нее – гляди, а если что, зови на подмогу, не стесняйся. Будем вместе запевать: эх, дубинушка, ухнем! Шихту на вагранку Валька поднял в срок. Только присел покурить, как выглянула из люка голова вагранщика.

— Ну, Валентин, — сказал он, — я разжег. Заваливай холостую. Где-то на метр выше фурм.

— Помню, — ответил Валька и затушил окурок о каблук сапога.

— Да, слышь, тыними спецуху-то, — Сурин ткнул пальцем в брезентовую куртку на Вальке. — Лучше по пояс голым.

—Почему? — спросил Валька, вспоминая, что и Паша, и многие рабочие на заливке раздевались до пояса.

Сурин усмехнулся.

—Не учили этому в техникуме?

—Вроде, нет.

—Так вот. Жидкий чугун видал, как брызгается?
Валька кивнул.

— Если капля ударит по голому телу, она отскочит, — продолжал вагранщик, — а через одежду на кожу попадет, тут уж мало не покажется – на всю жизнь родинку оставит. Понял?

—Понял.

—Ну, поехали!

Скинув куртку, Валька взялся за лопату. Если бы заваливать в вагранку один кокс, так что не работать, подумал он, и вскоре услышал, что Сурин включил дутьё. Пошли рабочие колоши.

Из завалочного окна так и пекло. Пот на теле сразу высыхал, не успев появиться. В таких условиях, сколько ни пей воды, все без толку – все так же пить охота. Валька об этом знал, но все равно пил, а остатки воды из чайника выливал на себя, хотя это нисколько не спасало от жары. Время от времени кто-нибудь из литейщиков приносил новый чайник с солёной газировкой, которого хватало не надолго.

«Спасибо, мужики не забывают», — подумал Валька. Отметив мелком пятнадцатую колошу, он оглянулся и посмотрел на кочергу, торчащую из завалочного окна. Ему показалось, что она не двигается. Он положил руку на изгиб, пытаясь почувствовать движение, но ничего не почувствовал. Пора было снова кидать в шахту чушковый чугун, но Валька беспокоился, что получился «завис». «Может, кажется только, что кочерга застыла», — думал он с надеждой увидеть легкие толчки, с которыми кочерга обычно опускалась вниз, показывая, что чугун плавится. Между тем время шло, и медлить больше было нельзя. Валька ударил кочергой в невидимый «завис» – ничего не изменилось. Снова и снова наносил он удары и наблюдал за кочергой, которая по-прежнему не двигалась. Тогда он спустился с площадки на несколько ступенек и крикнул Сурина пересохшим горлом:

—«Завис»!

Тот кивнул.

Через минуту к Вальке поднялись Сурин, Олимпий и Юрок. Ни слова не говоря, Олимпий с Юрком ухватились за кочергу:

—Раз, два... Ух! Раз, два... Ух!

—Крепко висит! — крикнул Юрок. Сурин выматерился и сказал Олимпию:

—Все, хана! Зови Лёху.

Олимпий моментально исчез, будто его и не было. Валька вспомнил, как Паша рассказывал ему, что в случае самых крепких «зависов» выручает рыжий Лёха с участка выбивки, местный Геракл, по словам Паши, необыкновенной силы. Он действительно разгибал подковы, поднимал на спор какие-то необыкновенные тяжести, откусывал от стакана и жевал стекло, а однажды в нетерпении откусил горлышко бутылки с водкой, выплюнул его и, взболтав винтообразно содержимое, вылил его в свое горло. От неожиданности и восхищения приятели его, наблюдавшие эту картину, даже не обиделись и в знак неподдельного уважения купили Лёхе еще одну бутылку водки, которую вместе потом, уже не торопясь, они и выпили.

Голые плечи Лёхи с трудом протиснулись в люк. На завалочной площадке сразу стало очень тесно. Кочерга в руках гиганта казалась игрушечной. Держа ее правой рукой, левой он отстранил мужиков в сторону. За лоснящейся от пота треугольной спиной обрубщика ничего не было видно. Вальке показалось, что он только чуть передернул плечами, как в вагранке послышалось что-то вроде вздоха, а из загрузочного окна полетели искры. Лёха протянул кочергу Вальке и, не произнеся ни слова, полез вниз. Мужики ушли за ним, а Валька стал скорым темпом заваливать в шахту печи кокс, чугунные чушки и лом. Вот силища-то, думал он, вспоминая широченные плечи молчаливого Лёхи. Только сейчас он почувствовал, как устал.

Продержаться бы до финиша. А когда он — финиш? Двадцатая колоша. Еще немного, еще чуть-чуть... Теперь Валька, опасаясь «зависа», не бросал, а аккуратно опускал в окно шихтовые материалы. На двадцать второй колоше в отверстии люка показалась голова Сурина.

—Живой? — спросил вагранщик.

Едва держась на ногах от усталости, Валька кивнул головой.

—Хорош на сегодня, — сказал Сурин. — Больше не заваливай.

Валька подумал, что еще три-четыре колоши, и его пришлось бы уносить с вагранки на руках.

—Ладно, — ответил он Сурину и не узнал своего голоса. Вытащив из завалочного окна страшно потяжелевшую кочергу, Валька положил ее на площадку — поставить на место в угол железную игрушку у него не хватило сил.

Только бы до душа добраться, думал Валька, пытаюсь попасть рукой в рукав рубашки. Встать под холодную воду и стоять, стоять, а вода пусть льется и льется... Голова кружилась, но главное, Валька чувствовал такую слабость в ногах, что даже боялся спускаться по ступеням с вагранки на формовочный участок. Там уже закончилась заливка, и литейщики, наверно, сидят на своей скамейке, отдыхают, и, значит, все увидят, в каком он состоянии. Только бы не вырубиться совсем!..

Интересно, сколько человек может выдержать на такой работе, подумал он, с трудом утверждая непослушную ногу на первой ступеньке. Сурин рассказывал, что Паша не раз сознание терял. Ну, он не Паша все-таки... Вот и вторая ступенька. Левая нога, оказывается слабее правой. Ничего, справится. Третья... Плохо, что у этой лестницы нет перил. Хотя бы тоненькие какие-нибудь, чтобы руку на них положить и тогда не казалось бы, что ты сейчас загремишь вниз со всей высоты... Четвертая ступенька. Иду потихоньку, ничего, пол, правда, раскачивается, как палуба военного катера в шторм, но я ведь там не падал, значит, и здесь не упаду. Пятая. Так и есть — мужики на скамейке сидят, нет бы отливки разглядывали, а не глазели по сторонам... Человек просто решил перекурить...

На пятой ступеньке он сел, не в силах дальше передвигать ноги. Стараясь держаться, как ни в чем не бывало, Валька достал дрожащими пальцами из пачки сигарету, будто решил покурить, и прихватил ее пересохшими губами. Руки не слушались, и спички ломались, а те, что зажигались, выпрыгивали из рук и гасли, так что прикурить не получилось. Валька сидел, опустив ноги на шестую ступеньку, с незажженной сигаретой в зубах и думал, что впереди еще семнадцать, и если их осилить, а потом пройти по цеху, подняться на второй этаж, то он будет спасен, там ждут его холодный душ и пара стаканов газировки.

В последние три часа он ни разу даже не вспомнил о Надежде.

Так сколько может человек тут продержаться? Нет, не то — сколько лично он может тут продержаться? Неужели к такому привыкаешь?..

Валька не мог знать, что его ждет совсем другая судьба. Не будет в ней литейного цеха. Так что привыкать не придется. Что эта первая плавка станет последней в его жизни, как тот поцелуй у тополя. Что сегодня вечером, когда он будет провожать Надежду домой, навстречу ему выйдут под фонарем трое и один из них в драке достанет нож-выкидуху и замахом снизу ударит им Вальку, но Вальке удастся выбить оружие из руки противника, и это спасет его от смерти, но не от тюрьмы, потому что парень, которого он бросит через себя на асфальт, при падении ударится головой о парапет и затихнет навсегда...

А пока он сидит на пятой ступеньке металлической лестницы, ведущей на завалочную площадку вагранки, и не может прикурить сигарету, только смотрит радостными глазами на людей внизу, на дымящиеся по всему полу отливки, на вагранщика Сурина, выбивающего верхнюю лётку, чтобы освободить печь от шлака и ему хорошо, потому что сегодня он победил, а значит, сможет побеждать и в будущем.

...Он затоптал окурок и поднялся. Подумалось: почему на кладбище всегда тихо, даже если оно находится в черте города, тише даже, чем в самой глухой тайге? Или так только кажется? Серебряная паутинка протянулась от кривого деревца к фотографии. По этой едва видимой нити спускался небольшой паучок. Стоит подуть ветру и качнуть сирень, как ниточка оборвется, подумал он. Но, может быть, паучок успеет спуститься, куда надо — вон как спешит. Ишь, парашютист! Наверно, чувствует, что стропа его ненадежна. Не бойся, до цели уже недалеко...

— Земля тебе пухом, Виктор Петрович! — тихо проговорил он и, взяв в горсть землю с холмика, пропустил её сквозь пальцы. Она была сухой и серой, совсем не похожей на формовочную.

ЛЕНЯ ПЕХОТА

Леня Рунов, по прозвищу Пехота, из себя невидным был. Росточку малого, щуплый, напоминал он постаревшего парнишку-подростка. Все хохлился, как воробей в стужу, да рукавом нос вытирал. Про таких у нас в поселке говорят: в чем только душа держится.

В Лене душа держалась. И очень даже цепко. Пьяным, бывало, спит он где-нибудь в овражке, на промерзлой, седой от инея земле — и ничего, даже простуда не пристанет. Как-то раз проснулся он так в Кривой балке, а подняться не может — фуфайчонка к земле примерзла. А Леня не поймет спяну, лежит и орет благим матом. Ладно, мужики мимо шли на работу, отодрали болезного. Или побьют его, опять же по пьяному делу, — однажды на Троицу в драке три ребра сломали, а ему хоть бы хны. Глядишь, идет как всегда расхристанный, поводит его из стороны в сторону, кепка на затылке и распевает:

«Темная ночь.

Только пули свистят по степи...».

Такой неуязвимый был. Бог ли берег, черт ли отвернулся — про то никто не ведал, да и не задумывался. Привыкли. Как церковь полуразрушенная стоит посреди поселка, хочешь-не хочешь, а она есть, так и Леня, и другие чудачки: Никола Карамба, дядя Митя Старая беда, Коля Божья воля.

У всякого скомороха, конечно, своя погудка. Так и тут. Ну да про то особый сказ.

Пил Леня много. И даже не то чтобы много, а трезвым не бывал никогда. Как вернулся с фронта, лет пятнадцать тому, так с тех пор и не просыхал. Завсегдатай береговой чайной под веселым названием «Голубой Дунай», участник всех пьяных драк, заварух, Леня «гудел» отчаянно, бесшабашно, будто жизнь своя была ему ценой в грош, будто смерти он искал, а она его, как и на войне, стороной обходила. Другие мужики тоже не пролей капельки, что греха таить, но пили как-то ровно, без бузы, без выкидываемых, на кои Леня был горазд. В его тщедушном теле таилось столько энергии, что на троих хватило бы с избытком, а он всю её расходовал на пьяные дебоши, от которых проку имел мало — бока намнут, вот и все удовольствие.

Хлебом его не корми, а почудить дай. Ну и чудил. Чего только с ним не приключалось! Однажды свалился с галерки прямо в зал во время концерта, посвященного октябрьской годовщине. Да еще и на голову председателя поссовета угодил. Рядом супруга председателя сидела, завизжала, толстуха, будто её режут. А певец наш, Славка Колокольников, в это время под баян выводил, как Муслим Магомаев:

*«Небо, небо, небо, небо, небо,
Тучами укрой родную землю...».*

Прозвище «Пехота» к Лене давно прилепилось. Уж так он гордился тем, что служил в пехоте, что другие войска вообще не признавал, как бы и презирал даже. «Кто войну выиграл? — кричал он возле сельмага.—Матушка-пехота!». Коля Божья воля, артиллерист, пытался ему возражать, но Леня петухом наскакивал на плечистого Колю и, размахивая кулачишками у него под носом, доказывал, что без пехоты победы было бы не видать, как своих ушей.

— На танке и дурак сможет врага давить, — горячился Леня. — Или пушки твои взять: фриц он во-о-он где, а ты по нему лупишь и в ус не дуешь! Пехота — дело иное. Пехота — это, брат, царица!.. Вот, помню, под Витебском...

— Да ну тебя! — отмахивался добродушный Коля. — Отстань. А то я не знаю, что такое пехота!

А дядя Митя Старая беда еще подзуживал:

— Нет, ты погодь, пушай покажет, что могёт.

— И покажу!

— Вот и покажи.

— Чего тебе показать?

Дядя Митя хитро прищурился.

— А вот говорят, что пехота всю войну на пузе... э-э-э... забыл, как называется...

— По-пластунски, что ли? — спрашивает простодушный Леня.

— Во-во, по-пластунски! Покажи-ка нам, как оно, это самое, делается.

— Это мы за милую душу! Тут ведь тоже не так-то просто...

— Ты не рассказывай, а покажи. Я тебе, это самое, наркомовские сто грамм поставлю.

Леня приободрился.

— Нашел дурака! Ставь четвертинку!

— Идет.

Леня сейчас –фуфайчонку на снег бряк, кепку на нее кинул и к земле припал. А земля – одно слово, а так – снег разъезженный, слякоть сплошная.

Мужики притихли, глядят. Через перекресток от пожарки к чайной ползет Леня Пехота, молча и сосредоточенно, словно и не чайная это перед ним, а вражеский дзот. Может, оно так и представилось в похмельной Лениной голове.

И на какой-то миг переносился он на поле боя, на то далекое поле под Витебском...

А Старая беда задорит:

— Давай, давай, Ленька! Вон он, фашист, видишь? Вперед, рядовой Рунов!

Дополз Леня до высокого крыльца «Голубого Дуная», поднялся, мокрый весь. И всем как-то сразу неловко стало, словно нехорошее что сотворили.

А Леня ничего, отряхнулся и говорит:

— Понял, Старая беда, как по-пластунски ползают? Так-то. Гони четверку!

Дядя Митя в кусты, мол, пошутили, чего там. Не успел он договорить, как вдруг Коля Божья воля – спокойный такой всегда, а тут — хватить дядю Митю за грудки, приподнял, сам белый весь, и шепчет:

— Ставь, паразит, четвертинку, не то я тебя...

Дядя Митя, бедный, ни жив, ни мертв.

— Дык, счас, Николаша... Я ведь это шутки ради... Я счас сбегаю. Пусти, ради Бога.

И бежит, как же. Обязательно. А Леня уж в чайной за столиком угощается. Много ли ему надо – сто грамм да кружку пива.

— Главное, когда ползешь, — говорил он Коле, — помни, чтобы задница не поднималась. А не то тебя фриц в момент зацепит. Будешь потом в лазарете на брюхе загорать. У нас было, помню, так мужик крепко переживал: как, дескать, домой с таким дурацким ранением поедешь?

— Ленька, — говорит Божья воля, — ты перцовки выпей, а то мокрый весь, дурачок...

— Перцовка – милое дело, — отвечает с достоинством Ленья.

Два раза в году – 23 февраля и 9 мая – фронтовиков всех приглашали в школу выступать с воспоминаниями о войне, тем самым выполняя пункт о Патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Леню Пехоту не приглашали. Куда его к детям? Пьяный придет. Всенепременно. И так посмешище всего поселка.

А между тем рассказчик он был добрый. Любили послушать его воспоминания о сражениях славного Третьего Белорусского фронта завсегда и «Голубого Дуная». А то еще стихи, которые Ленья читал наизусть со слезой:

*«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди...».*

Притихнут мужики, каждый свое вспоминает.

Девятого мая у Лени праздник наипервейший. С раннего утра он при параде возле чайной расхаживает. Весь парад его заключался в пристегнутой к лацкану мятого пиджака медали «За отвагу». Другие награды Ленья не жаловал, называя презрительно «побрякушками».

Толстый Володя открывает чайную и наливает Лене первую кружку пива. Ленья аккуратно сдувает с нее пену и, не торопясь, сосредоточенно пьет. Вскоре и другие мужики подтягиваются, а там, глядишь, часа через три-четыре бредет Ленья домой, крепко держась за перила моста и выпевая старательно:

*«Темная ночь.
Только нули степятно свисти...».*

Да. Зря, пожалуй, не приглашали Леню в школу. Детей он любил. Бывало, сидит он, пьяный, прямо в дорожной пыли, по-собачьи лает, а вокруг ребятыня. Смеялись над ним, конечно. Но без злобы. Дети ведь, не в пример взрослым, человека чувствуют.

Своих детей Ленья не имел. Рассказывали, что был он женат. Будто привез с фронта белорусскую девушку Машу, да недолго она с ним прожила. Оно и понятно. Работать Ленья нигде больше месяца не мог. Не такой он был человек, чтобы у станка стоять или

клясть кирпичи. Скучным ему это казалось. Плюнет, запьет, да пошлет начальство подальше. Контузия, видно, сказывалась — все ему куда-то бежать надо, говорить с кем-то, действовать, короче говоря. Уехала Маша в свою Беловежскую пущу, а Леня продолжал куролесить, потешая поселок своими выходками. Ну, надо ведь — однажды жена дяди Мити Старой беды развесила простыни сушить, а Леня пару и стянул, да дяде Мите же и загнал за бутылку «Колгановой». Старая беда принес домой покупку, ну и ... в общем, мужики в чайной долго потешались над незадачливым покупателем.

Жил Леня с матерью, сухонькой старухой, которую видели редко — разве что в магазин приплетется иногда. Она Леню и кормила — пенсию-то он пропивал в течение трех дней. А едок Леня был никудышный и никакого внимания пище не оказывал: хлеба с водой пожует — «солдатской тюрьки» — и на том спасибо.

Что кому на роду написано — про то неизвестно. Весной было, в конце апреля. Мужики на берегу смолили лодки. И Леня тут крутился. Кому смолу в ведре на костре помешает, кому поконопатить поможет, а то и за бутылкой, опять же, сбегает. Дело к вечеру. Мужики стали уж домой собираться, костры тушат. Вдруг — крик. Парнишка в воду свалился (их тут полно всегда бегало, — ледоход, на льдинах покататься — чего лучше!).

Ну, кричит парень, руками плещет, а льдины его все дальше теснят, на глубину. Пока суть да дело, пока кричали: «Багор давай! Где багор?», Леня пташкой — кепку долой, да и прыг в реку.

Вода ему по шею — маленький ведь росточком-то — а пацана не достать. Леня к нему тянется, а тот руками шлепает, воду уж глотает. Леня и нырнул. Ухватил парнишку за воротник и — к берегу. Тут уж ему и багор протянули.

Отец пацана прибежал, сына в охапку и домой. А Леня козлом возле костерка скачет, да разве согреешься на ветру? Крепкий ветер с Волги дул. Замахнул Леня водки стакан и домой отправился.

Больше его в поселке не видели. Воспаление, говорят, получил, легких. В десяток дней сгорел.

Вот тебе и Леня Пехота. Был человек и нету.

Когда Леню хоронили, народу за гробом шло — видимо-невидимо. Как же, Леню все знали. А он в гробу лежал аккуратный и на себя непохожий — серьезный больно. Будто узнал что-то такое,

чего при жизни не знал. А Коля Божья воля подушечку нес, а на ней – медаль. «За отвагу». По первости, отсутствие Лени Пехоты в поселке было заметно. Притих «Голубой Дунай», хотя мужики по-прежнему там собирались и часто Ленью вспоминали. А потом стали забывать. Да и друзей Лениных помаленьку косяя сосватала: и Коля Божья воля умер, и дядя Митя Старая беда за ним следом отправился – машину, «Запорожец» горбатый, получил, да недолго на нем катался.

И другие фронтовики как-то незаметно переходили в мир иной. Все меньше стояло их на митинге 9 мая у памятника погибшим. Из старой гвардии один Никола Каррамба остался, да и тот постарел крепко — не до бузы. Так, бывает, запоет в грустную минуту на улице: «Темная но-о-очь...». Да и оборвет неожиданно песню.

Мальчишка тот, которого Ленья спас, давно стал взрослым.

Он – директор завода и ездит на большой черной машине. А могилка Лёни травой заросла, крест покосился, и надпись дождями размыло. С трудом можно прочесть:

РУНОВ
ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
10.11.1920-7.05.1963

Да и читать-то некому – никто к Лене на могилку не ходит. Разве на Светлое Христово Воскресение положит какая-нибудь сердобольная старушка пару сваренных в луковой шелухе яиц да мятую карамельку.

Добрая была бы закуска для Лени Пехоты.

ПОЛЫНЯ

И тогда наступила тишина. Андрей отчетливо слышал сухой шелест размываемого водой льда. В полынне, западая на один бок, качалась шапка Петровича, похожая на большой поплавок. Течением тащило ее под лед, но она, зацепившись за острую кромку, вздрагивала, точно живая, и все держалась на поверхности. Но вот она исчезла.

Андрей судорожно вздохнул. Из горла вырвался звук неожиданно жалкий и тонкий.

Некоторое время Андрей продолжал лежать на льду, прижавшись щекой к углу своего ящика. Потом с трудом поднялся. Все тело сотрясала дрожь, руки и ноги казались распухшими, плохо повиновались. И он не мог понять – от холода это или от того ужаса, который только что пришлось пережить.

Он огляделся. На реке – не души. Сгущались сумерки. Из-за островов налетали порывы жгучего ветра. Мокрый плащ покрылся ледяной коркой. Нужно было возвращаться в деревню, но он все стоял, растерянно обрывая намерзшие к рукавам плаща кусочки льда.

Возле полыни чернела лыжа. На миг страх с новой силой охватил Андрея. Как наяву, увидел он красные пальцы Петровича, цепляющиеся за хрупкую ледяную кромку, которая крошилась, крошилась...

Он отвел взгляд от страшного места. Вокруг было темно, тихо и жутко. Впереди – там, где тянулась невидимая полоса берега, мутно мерцали огоньки деревушки, высвечивая в фиолетовом сумраке край неба.

И тут на глаза ему попался ледобур Петровича. Он лежал так, что его рукоятка едва возвышалась над ровной ледяной поверхностью. Позади темнела холодная, равнодушная вода.

«Если бы Петрович шел первым, ничего не случилось бы», — мелькнуло в сознании. «Не случилось бы с ним, — тут же возразил он сам себе, — а с тобой?». Не отдавая себе отчета, зачем он это делает, Андрей старался с помощью лыжи подтащить бур ближе, хотя можно было сделать несколько шагов и дотянуться до него. «И вообще, зачем он отошел в сторону? Знал же, знал, что лед на тропе всегда прочнее?» — Андрей представил себе, как идущий сзади Петрович

бросает поклажу и хватает его, Андрея, за плечи, чтобы оттащить от полыньи.

Андрей передернул плечами, на мгновение почувствовал на них тяжелые руки Петровича. Этого толчка хватило, чтобы лыжа, зацепившая бур за шнековую часть, сорвалась, — бур без всплеска ушел в воду.

«Ты мог протянуть старику бур», — опять зашептал незнакомый ему доселе голос, тихий и вкрадчивый. «Нет, не мог! Не мог! — чуть не закричал Андрей. — Если бы я не поскользнулся...» — «Ты протянул бы Петровичу лыжу? — с сарказмом спросил голос и, как будто одержав победу, с торжеством добавил: — Ее же в руках не удержишь!»

Такое раздвоение в себе Андрей испытывал впервые. От страшного внутреннего напряжения у него голова пошла кругом. Хотелось опуститься на лед и больше уже не вставать. Унявшийся на недолгое время озноб снова сотрясал его с головы до ног. Он собрал разбросанные по льду вещи и направился к берегу. Темнота становилась все плотнее.

Подморозило крепко. Тропа под ногами казалась совсем черной. Скрип снега эхом разносился в тишине и болезненно вонзался в сознание.

И вдруг тот же голос прошептал: «А ведь ты бур-то нарочно в полынью столкнул!». Шепот был таким отчетливым, что Андрей вздрогнул и оглянулся. На лбу выступила испарина. Он сдвинул на затылок шапку, перевел дыхание.

До берега оставалось около километра. Ноги неуверенно становились в старые, прихваченные морозом следы. Еще четверть часа он шел, как в бреду, разговаривая с невидимым собеседником, когда почувствовал, что правая нога теряет опору. Повторялось то же самое, что час назад — Андрей, не заметив промоины, провалился в нее ногой, но шедший тогда сзади Петрович успел повалить его на спину.

Теперь Андрей был один. Почуввав опасность, он по-заячьи метнулся в сторону, упал на бок. «Ничего... ничего... скоро берег...» — шептал он, успокаивая себя. Но подняться на ноги не смог — пополз по острому снегу туда, где спасительно светились огоньки деревни.

Каким маленьким и раздавленным чувствовал он себя под огромным звездным небом! Как было ему страшно, тоскливо и одиноко!

Вот и берег. Пошатываясь, Андрей встал. Над горой висел тонкий месяц. В его жидком свете матово блестела тропинка, узким пояском изогнувшаяся по склону горы. Постепенно мысли приходили в порядок, и он решил, что, как только вернется в город, сразу заявит о гибели Петровича. Но вот показались первые дома деревни и сомнения опять стали терзать его.

«Хорошо, — думал он, невольно ускоряя шаги, - хорошо... А на работе узнают? А жена?.. Нет, причем тут жена! И вообще, я же ни в чем не виноват!..».

«Ну да, разумеется. Разумеется, не виноват... — и тут новая мысль поразила его своей неожиданностью. — Можно вообще молчать! Кто видел? Кто докажет?..».

Ему вспомнился бур, без звука уходящий в черную воду. «Последняя улика уничтожена!» Он едва не закричал: «Почему уничтожена? Почему улика?.. Я не хочу. Не хочу!».

Возле дома, в котором они с Петровичем остановились, Андрей замедлил шаги, скинул с плеча тяжелый ящик. Свет, падающий из окон, освещал «Жигули», одиноко стоящие у ограды. Открыв дверцу, Андрей опустил на сидение. Страшно захотелось курить. Негнущимися пальцами он вытянул из пачки сигарету. В это время на крыльце пронзительно скрипнула дверь.

— Ага, рыбачки мои вернулись? — раздался голос хозяйки. — Ну, и слава Богу. Гляжу – смеркается, а вас все нету. Не случилось бы чего, думаю. В эту пору всяко бывает. Этта в Гарях трое утопли...

Андрей спиной чувствовал ее шаги и свистящее дыхание. Стукнула крышка ящика.

— Ба-а! С уловом, значит. Ну, молодцы!..

Старуха замолчала. Андрей все сидел в машине полубоком к распахнутой дверце, курил. Ему не хотелось не только отвечать, но даже смотреть на старуху.

— А где Петрович? — спросила она, и Андрей вздрогнул. Спокойный голос старухи показался ему зловещим, как будто она знала что-то такое, в чем он сам себе признаться не мог.

«Надо что-то ответить... ответить...» — подумал он и вдруг неожиданно для себя произнес:

— Как где? Дома, наверно, чай пьет!

— Дома? Нету его дома, — сказала старуха. — Вы ведь вместе по заре пошли.

Андрей проглотил тягучую слюну.

— Пошли-то мы пошли, да разошлись. — Он чувствовал фальшь в своем голосе, противился ей, но уже не мог остановиться.

— Я думал, Петрович вернулся давно.

— Нет, не вернулся, — растерянно сказала старуха и замолчала.

Андрей нагнулся, стал шарить внизу под сиденьем.

— Эй, парень, ты что? Ты вылезь из машины-то, — старуха дернула его за рукав плаща.

«Чего она пристала?» — с неприязнью подумал он, но повернулся и, грузно, путаясь в плаще, выбрался из «Жигулей».

Старуха шагнула ему навстречу. Ее лицо темнело совсем близко, и страх охватил Андрея.

— Э-э, парень... — прошептала она, заглядывая ему в глаза.

Андрей отшатнулся. Хотелось закричать, даже ударить старуху, но, как это бывает во сне, руки и ноги, да и все тело стали непослушными.

Лицо старухи поплыло куда-то в сторону. И тогда он упал на колени, закрыл лицо руками и беззвучно заплакал.

СНЕГУРОЧКА

Вечером на площади возле елки народу тьма тьмушая! Скрип качелей, лязг движущегося по рельсам детского электропоезда, стук леданок на горках, хруст снега под ногами, говор и смех — все эти звуки сливаются в один — густой, протяжный и радостный.

А елка! Чудо, что за елка! Огромная, таинственная и величавая, стоит она в сиянии быстрых огней, возвышаясь над толпой, и заключена в ней какая-то неведомая, притягательная сила.

Девочка приходит сюда каждый вечер. Она останавливается за фонарем около невысокой металлической изгороди, огибающей площадь со стороны парка, и смотрит, маленькая и тихая, испуганным зверьком, а разноцветные огни, перетекающие вверх-вниз по гирляндам, отражаются в ее глазах.

Там, на площади, другой мир. До него рукой подать, но Девочка никогда не переступает невидимую черту, за которой начинается чудо, она не думает об этом даже, потому что ее увлекает не то, что происходит у елки в действительности, а то, что она придумала сама и потому (она уже чувствует, хотя и не понимает), если переступить черту — все разрушится, исчезнет, станет будничным, серым, тоскливым. И ее маленькое сердечко сжимается и замирает в груди. Пусть сказка, выдуманная ею, не кончается как можно дольше!..

На этот раз Девочку провожает из детсада Бабушка. Они стоят у фонаря, смотрят на елку.

Давно стемнело. Зажглись огни, и в сугробах засверкали острыми гранями искры, как будто высыпал кто на снег толченые в мелкую крошку елочные игрушки.

Завтра — Новый год!

Бабушка и Девочка идут к дому. Он стоит недалеко от площади, надо только пройти по улице вдоль парка, потом свернуть налево в небольшой переулок — и вот он, дом, — деревянный, в два этажа, весь какой-то облезлый и пошарпанный.

— Бабуль, — говорит после долгого молчания Девочка, — а Диме Хорошеву со мной дружить не разрешают.

— Кто не разрешает?

— Его мама.

— С чего ты взяла?

— Я слышала. Она сказала нянечке, что я Димины варезки взяла.

— Господь с тобой! — останавливается Бабушка и заглядывает внучке в лицо. — Ты, чай, не брала?

— Зачем? У меня же есть! — Девочка протягивает руки. — Вот, ты связала!

Они смеются, поднимаясь по расшатанной лестнице, ступеньки которой визгливо скрипят на морозе. В подъезде темно и пахнет мышами.

— Ты останешься ночевать? — спрашивает Девочка.

— Нет, моя хорошая, не останусь. Тебя вот провожу и обратно. Дедушка меня ждет.

Старушка долго не может отпереть замок, вставляет ключ то так, то этак, — все без толку.

Тогда Девочка толкает дверь плечом, и та широко распахивается.

В прихожей, тускло освещенной запыленной лампочкой, стоит густой, тяжелый запах винного перегара. Из кухни доносится голос отца.

— Никак, опять дружков привел, окаянный! — тихо говорит Бабушка, помогая Девочке расстегнуть пальто. — Нету на него никакой управы.

Дверь в кухню приоткрыта. За столом, плотно заставленным посудой, сидит, опустив голову на грудь, отец. Свет настольной лампы, горящей позади него на холодильнике, выхватывает из темноты часть стены, на которой качается большая, бесформенная тень.

— Я тебя знаю! — бормочет отец и грозит пальцем куда-то в угол. — Я тебя давно-о-о знаю!..

— Господи, помилуй! — шепчет Бабушка и прижимает к себе внучку. Отец вздрагивает и резко поворачивается на голос:

— Кто?! Кто здесь? — почти кричит он, вглядываясь воспаленными глазами в лица стоящих на пороге Бабушки и Девочки. Неуверенная, жалкая улыбка растягивает его губы.

— А-а, дочка!.. Пришли, значит. А я вот... сейчас, — он безуспешно пытается встать. Задетая локтем бутылка падает, на клеенку медленно вытекает темно-красная лужица.

— Докатился, сынок! Срам-то какой!..

Отец молчит, насупившись, глядит тупо на желтое блюдо с огурцами, к краю которого прилепился темный смородиновый лист.

— Мать!.. Ты... Ты чего на пороге стоишь? Проходи, садись. Зачем обижаешь?

— Обидишь тебя, как же! — с горечью говорит Бабушка.

— А что?.. Что такое?

— Ничего. Горбатого, говорят, могила исправит, так хоть о дочке бы подумал! Что она видит, а?

— Что видит? Ничего такого особенного она не видит. Живем, как умеем, и, между прочем, не хуже других... Так, что ли, дочка? Иди ко мне, маленькая!.. Любишь папку?..

Девочка молчит. Ей хочется заплакать и не получается. Только трудно дышать.

— Вот. Во-о-от! — с расстановкой произносит отец. — Все молчит. Спросишь — молчит. И в кого ты у нас такая характерная? В бабуку, что ли? — Отец прислушивается и грозит в темный угол пальцем.

— А ты иди-ка, милая, в комнату, — подталкивает Девочку к двери Бабушка и, когда та уходит, опять обращается к отцу. — А где твоя благоверная-то?

— Благоверная?! Х-ха. Скажешь, мать... А не будет ее сегодня. Вот. К теще укатила. И скатертью дорожка.

— Как это укатила? Как это... А Девочка?

— А что — Девочка? Не на улице, чай. Со мной будет.

— С тобо-о-й? Тьфу!

— А что?

— Ничего! Она о дочери-то помнит хоть? Или совесть совсем потеряла?

Отец ухмыляется:

— Не потеряла, мать, а пропила. Ага. Обменяла на флакон «бормотухи». Если, конечно, была у нее когда-нибудь эта самая совесть. А я так думаю, что и не было... Я ей, мать... я ей... никогда младшую-то... не прощу. Ни-ког-да. Она ведь девчонку-то загубила.

— Он всхлипывает. — А, мать?

— А ты где был?

— Я? А-а... Я-та...

— Ты-то! Теперь жалеет... Э-э, тьфу!

В комнате Бабушка некоторое время стоит у окна и не отзывается на голос Девочки. Потом подходит к ней и сжимает в своих жестких ладонях внучкины щеки.

— А ну-ка, моя хорошая, давай поглядим лучше, что за подарок тебе Дед Мороз прислал!

Старушка вынимает из сумки перевязанный лентой сверток, кладет его на стол. С нетерпением разворачивает Девочка белую хрустящую бумагу.

Платье! Красивое голубое платье! Никогда еще у Девочки не было такого платья. Блестящая ткань переливается, кружева на воротнике, на груди и по подолу белее снега и похожи на морозные узоры на стекле... Что за прелесть! А легкое какое, точно сшито из облака. У Девочки нет слов.

— Это платье Снегурочки? — говорит, наконец, она.

— Снегурочки?.. — переспрашивает Бабушка. — Ну да, Снегурочки, а как же!.. Да ты примерь, примерь!

Ну, конечно, — в пору. Девочка не в силах оторваться от зеркала. Она забыла обо всем на свете. Нет больше пьяного отца за стенкой, исчезла неприбранная, замусоренная комната, да и всего этого дома с его скрипучей, пропахшей мышами лестницей тоже нет. А есть то новогоднее чудо, которое творится на площади у елки, и есть это небесно-голубое, невесомое, в снежных кружевах... в котором можно войти в сказку и не быть там чужой. Никто даже не спросит: «Ты зачем сюда пришла? Кто ты такая?..» Пусть сказка, придуманная тобой, не кончается как можно Дольше, Девочка!

— Вот что, моя хорошая, — говорит Бабушка, — останусь-ка я у вас ночевать. А завтра мы с тобой к Дедушке поедем. Ладно ли?

— Ладно, — улыбается Девочка. Но вот легкое облачко набегает на ее лицо. — А мама... приедет?

Бабушка вздыхает.

— Приедет, милая, приедет. Как же ей не приехать-то? Обязательно приедет... Давай мы с тобой пораньше спать ляжем, утро-то вечера мудренее.

Они укладываются — Девочка на узком диванчике, Бабушка рядом — на раскладушке. Долго молчат. Потом Девочка спрашивает:

— Бабуль, а бабуль! Ты не спишь?

— Так, малость дремлю.

Девочка садится на диване, обхватив руками колени.

— Бабуль, а когда люди умирают, они куда деваются?

— В землю их, милая, кладут, — вздохнув, отвечает Бабушка.

— А-а... Наша Юленька тоже, значит, в земле?

— В земле, милая, ее тело, а душа — на небе.

— На небе... — тихо повторяет Девочка. — А я бы ей платье показала...

— Ты спи, доченька, спи. А Юленька все видит. И платье твое. Радуетя за тебя. Ты спи...

Девочка ложится. Ей показалось, что она лишь на минутку закрыла глаза, как вдруг услышала шепот:

— Проснись, Девочка!

В комнате, залитой ровным зеленоватым светом луны, никого нет. Тихо дышит Бабушка. На полу возле окна качается тень от занавески. И тут, когда взгляд ее останавливается на окне, Девочка вздрагивает. Там, за окном, обсыпанная лунными блестками, в тихом голубом сиянии стоит... Снегурочка. Глаза ее улыбаются ласково и загадочно.

Снегурочка кивает Девочке и манит за собой.

Откинув одеяло, Девочка соскакивает с дивана. Ноги не чувствуют пола, будто она летит по воздуху. Не зажигая света, Девочка достает из тумбочки подарок Деда Мороза, быстро надевает платье и смотрит на Снегурочку. Та улыбается и делает знак рукой, приглашая следовать за собой.

Обычно скрипучая дверь растворяется без звука. Девочка выходит на площадку и спускается по лестнице, которая тоже на этот раз не скрипит.

На улице морозом обжигает ее с ног до головы, и Девочка на мгновение останавливается в нерешительности у подъезда, потом медленно идет, вытянув перед собой руки, точно боясь наткнуться на что-то невидимое.

Вокруг тихо и пустынно. Застыли на черном небе далекие звезды. Снежинки танцуют в свете фонаря свой веселый новогодний танец. Девочка идет вперед, тонкое платье прилипает к телу, но ей уже не холодно и не страшно, потому что она считает все происходящее сном и хочется досмотреть чудесный сон до конца.

Звездное платье Снегурочки уплывает в темноту. Но Девочка знает, куда нужно идти: по переулку, теперь поворот... По улице... Уже сверкает впереди огнями елка, и огни эти ярче звезд. Они струятся, переливаясь, — вверх-вниз, вверх-вниз... Ближе, ближе, ближе...

...Бабушке бежать трудно. Она по-утиному переваливается, прижимая локти к бокам, часто останавливается, чтобы перевести дыхание и опять бежит. Платок сбился у нее с головы, и пряди седых волос падают на глаза. Но Бабушка не замечает этого, она все повторяет: «Ой, Господи! Ой, Господи!» И снова бежит, бежит.

Бессильно опустив руки, Девочка стоит под елкой, широко открытыми глазами смотрит вверх, На звезды. Бабушка молча подхватывает ее на руки. Но бежать уже не может. С трудом передвигая ослабевшие вдруг ноги, она идет, крепко прижимая к себе послушное тельце внучки.

Губы Девочки чуть слышно шепчут:

— Злая, злая... Она тоже злая, тоже...

— Кто? — тяжело дыша, спрашивает Бабушка и К горлу ее подступает острый комок.

— Злая... Снегурочка... Злая... Она ушла... — как в бреду повторяет Девочка, все теснее прижимаясь к Бабушке. А в груди ее громко колотится сердце, словно скачет по ступенькам: тук-тук, тук-тук, тук-тук...

ОДИНОКАЯ ПТИЦА НА ЗЕЛЕННОЙ ВЕТКЕ

На похороны матери Светлана Алексеевна Больных ехала с тяжелым сердцем. Не то, чтобы ей было сильно жаль усопшую, – нет, старухе недавно исполнилось семьдесят пять – пожила, слава Богу, просто они с матерью никогда не были близки, а некоторых вещей Светлана не могла простить ей до сих пор, несмотря на то, что считала себя православной и являлась прихожанкой одной из городских церквей – Воздвиженской. «Возлюби ближнего твоего» – как оказалось, трудновыполнимая заповедь.

А кошки скребли на душе у неё по другой причине. Глядя на проплывающие за окном электрички голые деревья и унылые дома пригорода, Светлана Алексеевна думала о том, что на похороны, конечно же, явится её бывший муж, с которым она вот уже четыре года в разводе и которого она до тошноты не хотела видеть, а с ним придут обязательно некоторые из его родственников и нужно будет – хочешь не хочешь – с ними о чём-то говорить, они будут выражать своё соболезнование по поводу смерти, хотя прекрасно знают её отношение к матери, да и сами не то чтобы не любили, но даже и не уважали властную старуху-сумасбродку, Царство ей Небесное.

Утешало то, что до нежеланной встречи с бывшими родственниками оставалось, по крайней мере, пара суток – едва ли они появятся заранее, скорее все же в день похорон. Конечно, хлопоты по устройству могилы, поминального обеда и так далее придется ей взять на себя, разве что поможет двоюродный брат, который живет там же, в поселке, если он, конечно, не в запое. Ничего, этот последний долг она отдаст матери и, наконец, как уверяла себя Светлана, освободится от её постоянного давления. Свобода! Сладкое слово. Хорошо птичке в золотой клетке, да лучше на зеленой ветке!

Светлана Алексеевна усмехнулась. Последний долг! Они не общались с матерью уже двенадцать лет, со дня рождения Ванечки. Ну, не то, чтобы совсем не общались, но дистанцию держали обе: «здравствуй», «как дела?» «до свидания» – этих слов хватало для поддержки видимых родственных отношений. Что еще? Поздравления с днем рождения и Новым годом, посещения в больнице, куда мать регулярно ложилась два раза в году – весной и осенью. Вот, пожалуй, и все, если не считать постоянных мысленных диалогов, в ко-

торых Светлана Алексеевна, сама того не желая, советовалась с матерью по всем жизненно важным вопросам, никогда с нею, между тем, не соглашаясь. По крайней мере, ей так казалось.

«У меня больше нет дочери!» – с пафосом крикнула тогда разгневанная старуха. Это было в её стиле. «У меня больше нет дочери!» Ай-ай-ай! Из какого это фильма, мама? Тогда еще не показывали дурацких сериалов. Хотя нет, какие-то уже появились. «Рабыня Изaura», что ли?.. Или «Богатые тоже плачут»?.. Ах да, «Санта-Барбара!» Как давно это было! Сколько всего случилось за эти годы! «У меня больше нет дочери!» А была? Н-да... О покойниках только хорошо. «Нет дочери...» Но и это простила бы ей, наверно, Светлана, а вот ситуации с отцом простить не могла. И еще...

Нерадостные воспоминания о матери были прерваны громким хрипом и треском динамика. Из него раздался, наконец, человеческий голос, булькающий и захлебывающийся, и только по движению пассажиров можно было догадаться, что объявили очередную станцию. Посмотрев в окно, за которым уже сгущались сумерки, Светлана Алексеевна разглядела знакомое замызанное здание вокзала – пора выходить. Она вздохнула, взяла тяжелую сумку и пошла к выходу из вагона.

Всё было так, как она предполагала. И муж, и родственники, и пьяные голоса на поминках. С христианской кротостью и терпением она выдержала это испытание, но как только закончился обед в гулкой заводской столовой, поспешила уехать домой к тяжело больному сыну, с которым пришлось оставить дочь. Детям не довелось проводить усопшую в последний путь, о чем она, как христианка, конечно же, сожалела, но так уж сложились обстоятельства.

И, тем не менее, Светлана Алексеевна осталась довольна поездкой. Во-первых, ей удалось почитать над усопшей Псалтирь – других чтецов не нашлось в поселке, где и церковь-то открылась недавно, и она прочла вечную книгу у гроба матери трижды. Читать на церковно-славянском она научилась недавно и потому читала с удовольствием – и келейное правило, и акафисты, и Новый Завет, а уж тем паче Псалтирь. Во-вторых, пока читала кафизму за кафизмой, из сердца её уходила обида на мать, ей стало по-детски жаль эту как-то сразу изменившуюся после смерти старушку, лицо которой потеряло своё властное выражение и выглядело теперь под белым платочком и

бумажным венчиком кротким и умиротворенным. Можно было подумать, что усопшая всю жизнь только и делала, что молилась Богу, творила добрые дела, умела прощать и никому не желала зла.

В день похорон с утра приехали родственники, в доме стало суетно и шумно, но вскоре появился местный батюшка, молодой, со светлой реденькой бородкой и начал, помахивая кадиллом, отпевание, и всё опять приняло чинный вид, подобающий христианскому погребению.

«Благословен еси, Господи, научи мя оправданиям Твоим», — высоким голосом выводил отец Дионисий, и две-три неизвестно откуда явившиеся старушки надтреснуто и не в тон подпевали ему. На гробе, время от времени постреливая, горели три тоненьких свечки, пряно пахло дешевым ладаном, и Светлане, стоявшей рядом со священником было слышно, как он в паузах между фразами шумно набирает в грудь воздуха. За спиной, пьяненький и жалкий, переминался с ноги на ногу бывший муж, но и его присутствие не беспокоило Светлану, ей казалось, что прежняя жизнь, наконец, отпустила её, и радостное чувство свободы переполняло сердце, и она уже за это была благодарна покойнице.

За все три дня, проведенных у гроба матери и даже на кладбище, когда опустили в могилу гроб и стали засыпать его красноватой глиной, Светлана Алексеевна не уронила ни единой слезинки. Сухими глазами она смотрела, как нетрезвые мужики-могильщики выравнивают свежий холмик и укрепляют на нём крест, как кладут у подножия креста тяжелый серый камень, гладкий, словно отшлифованный, как устанавливают оградку и выстраивают по периметру траурные венки, на лентах которых непонятно для какой цели указывалось, от кого и кому они предназначались. И сердце у неё билось ровно.

Вернувшись к вечеру домой и убедившись, что дети прекрасно справились без неё, а Ванюшка уже встал на ноги, повеселел и приклеился к компьютеру, что говорило о его выздоровлении, Светлана Алексеевна прилегла отдохнуть и стала думать о том, что завтра подаст сорокоусты о упокоении матери в три церкви. Мысль перекинулась на храм, куда она ходила молиться в течение последнего года, и Светлане вдруг остро захотелось исповедаться. Причем исповедаться подробно, рассказать свою жизнь отцу Виктору, который умел выслу-

шать и поддержать добрым словом, рассказать обо всем, что так долго держало её сердце, словно в клетке, а сегодня эта клетка, кажется, приоткрылась. Да уж, лучше на ветке, чем в золотой клетке. Это правда.

Она не смогла бы точно ответить, зачем это делает, но, поднявшись с дивана, включила настольную лампу, перекрестилась на иконы в серванте, уселась за стол и стала писать. Написав первую страницу, она вдруг неожиданно для себя заплакала, но продолжала писать, и ей казалось, что она разговаривает с Богом.

...До семи лет я жила с бабушкой. Я очень любила её. Она была необыкновенно добрым и глубоко верующим человеком. Теперь я могу сказать об этом с полной уверенностью. После института моя мама не осталась жить в поселке, уехала в город, где вышла замуж, будучи беременна мной. Когда я родилась, она отдала меня бабушке, а сама занялась карьерой. За это ей спасибо, потому что если и есть во мне что-то хорошее, то, безусловно, благодаря бабушке Поле, которая сеяла добрые семена, жаль, что упали они на каменистую почву.

Мама запрещала бабушке говорить со мной о религии. Эти запрещения всегда звучали в ультимативной форме и произносились тоном, не терпящим возражений, каким мама обычно разговаривала с бабушкой. Да и не только с ней.

— Мама, — я помню, говорила она, — мама, ты человек малограмотный, и потому я тебя убедительно прошу: никаких сказок о Боге ребенку не рассказывай. Иначе я вынуждена буду забрать девочку в город!

Меня тогда уже удивлял такой тон и такие заявления, потому что я же понимала, что никуда она меня не заберёт. Было странно: как будто бабушка выпросила, чтобы я жила у неё, а не сама мама попросила бабушку взять меня к себе. Похоже, об этом они обе уже не помнили. Или делали вид, что не помнят. А еще до слез хотелось защитить бабушку, которая смиренно терпела грубое обращение и ни слова не говорила против.

И все же, несмотря на мамины угрозы, бабушка только и делала, что рассказывала мне о Боге и церкви. Она даже втайне от родителей окрестила меня, и я носила на груди маленький пластмассовый крестик, который снимала и прятала, когда приезжала мама. Это была наша с бабушкой большая тайна, которую мне очень нравилось хра-

нить. Мы ходили в церковь, причащались, я очень любила церковное пение и знала все сюжеты на аналойных иконах и настенной росписи. Особенно мне нравилось «Благовещение», где Дева Мария стоит перед архангелом, опустив глаза, такая тихая и покорная. «Се Раба Господня, да будет Мне по слову твоему...» Мне хотелось быть похожей на Неё. О Боже, Ты знаешь, какой я стала!

В пять лет я твердо знала «Отче наш», «Богородицу» и «Верую», а мама с отцом даже не догадывались об этом. Отец мой, как и мама, в Бога не верил, это был тихий, неразговорчивый человек, который старался как можно реже бывать дома и боялся жены. Свой страх он передал и мне. Впрочем, мама и сама прекрасно умела внушать его окружающим.

В семь лет меня забрали в город, и я стала жить у родителей. Кончилось моё беззаботное детство! Как они ссорились! Мама после таких стычек гордо молчала, а отец жаловался мне, оправдывался и говорил, что не тащил маму замуж, дескать, это она хотела замужества. Я слушала его, и мне было больно и тоскливо. Я не понимала, кто из них прав, жалела обоих, больше все-таки отца, и мечтала, что когда-нибудь уеду от них далеко-далеко.

Но далеко уехать не получилось. К окончанию школы власть матери надо мной была очень сильной. Она заставила меня поступить в строительный институт, и я, не испытывая никакого интереса к специальности инженера-строителя, успешно сдала туда экзамены. Я надеялась, что теперь стану свободной, но я ошибалась. Мама вмешивалась во все мои дела, держала под контролем учебу, знакомства и увлечения, а мне хотелось как можно скорее выйти замуж и уйти из дома. Конечно, многие мои сверстники мечтали вырваться из-под опеки родителей, но, уверена, никто этого не хотел так горячо, как я!

На последнем курсе института я вышла замуж. И это было начало бед, болезней, страданий. Мужа я не любила, он был для меня лишь той соломинкой, за которую можно было уцепиться, чтобы начать новую жизнь. Теперь я понимаю, что без любви нельзя построить семейный очаг: как ни старайся, ничего хорошего не получится, но тогда мне казалось, что замужество само по себе – огромное счастье. Наверно, это так, но при условии, что люди любят друг друга. Муж меня любил, отрицать не стану, но он оказался серым, скучным человеком – во всяком случае, я таким его видела – любил вы-

пить и во многом был похож на моего отца. Замечая это, я думала с испугом: неужели моя судьба повторяет судьбу мамы? Неужели я похожа на свою мать?

Через год у меня родилась дочь. Мама и тут показала силу своей воли и забрала десятимесячную девочку к себе, убедив меня и мужа, что мы должны сейчас больше внимания уделять работе, продвижению по служебной лестнице и тому подобное. Я боялась послушаться её и согласилась, думая, что так, действительно, будет лучше для всех. Господи, почему Ты не остановил меня тогда?!

Мы ездили к родителям только на выходные, и я очень скучала по дочке, даже тосковала по ней. Я видела, что мама воспитывает девочку в своем духе, но что я могла сделать? Много лет пройдет, прежде чем я осознаю, какой это грех – отдать своё дитя другому человеку, пусть даже родной матери! Я утешала себя тем, что и сама воспитывалась у бабушки, но понимала, что между той и этой бабушками есть великая разница.

Так продолжалось пять лет. За это время я продвинулась на работе, стала старшим инженером и председателем профсоюзной организации отдела. Муж по-прежнему выпивал, ходил на футбол, ни о чем не думал. Он отработал три года на стройке за квартиру и, когда мы её получили, сделал для себя вывод, что на этом его задача, как главы семьи, решена раз и навсегда. Моя вторая беременность закончилась абортom, и Господь справедливо наказал меня за этот великий грех: следующий ребёнок – мальчик – родился болезненным и вскоре после рождения умер. Атрезия лёгочной артерии – с таким заболеванием дети долго не живут. Тогда я настояла на своём и забрала дочку к себе.

Это были девяностые годы, перестройка уже превратилась в ломку, более слабые предприятия закрывались, а те, что посильней, нищали и кое-как держались на плаву. Инженеров сокращали повсеместно, но нас с мужем пока миновала эта чаша. Помню, в то время ко мне все чаще стали приходить мысли о Боге, вспоминалась бабушка Поля и очень хотелось окрестить дочку, но муж был категорически против. Почему он так активно возражал против крещения, мне до сих пор не понятно. Может быть, таким образом, он как-то утверждался в своих глазах? Удивительно, что я не настаивала на своём, и девочка оставалась некрещеной. Потом, когда у нас родился еще один

мальчик, такой же болезненный, как и первый, и я не спала ночей, плакала и просила Бога, чтобы Он оставил нам ребёнка, муж согласился на крещение, если мальчик останется жив. Господи, Твоя святая воля! И мы еще ставили условия!.. Но все-таки Бог был милосерден к нам и наш Ванечка выжил.

Наконец-то мои дети были крещены! Ни мамы, ни мужа в церкви во время крещения не было. Да и слава Богу. Понятно, что тогда я и сама мало понимала, что происходит и придавала обряду крещения больше магического значение, искренне считая, что теперь Бог должен защищать моих детей, и что сделано все, чтобы они были здоровы и счастливы. Ах, если бы тогда кто-нибудь объяснил мне, что Бог спасает нас не без нас, что мы участвуем в своем спасении, что таинство крещения – это начало новой жизни человека во Христе! Разве так воспитывала бы я своих детей, зная это?! Разве наделала бы столько непоправимых ошибок?!

Я стояла в храме, смотрела на священные изображения, вспоминая нашу с бабушкой Полей деревенскую церковь, иконы, украшенные бумажными цветами, запах ладана и солнечный луч, который так же косо падал из узкого окна на образ Спасителя справа от Царских дверей. Когда батюшка стал читать Символ Веры, я очень удивилась тому, что помню каждое слово православного вероисповедания. Спасибо тебе, бабушка Поля! Вечная тебе память, родная!

Всё это время мама не приезжала к нам, потому что я скрыла от неё беременность, и она сильно на меня обиделась. А я знала, что если скажу ей о ребёнке, она заставит меня сделать аборт. Мама всегда умела настоять на своём. И вот теперь она не приехала даже посмотреть на внука. Приезжал отец. Он приезжал часто и помогал мне. Из-за болезни сына мне пришлось уволиться с работы, и мы жили вчетвером на небольшую зарплату мужа. Это был очень трудный период моей жизни, и помощь отца была как нельзя кстати.

И вот как-то в начале лета мама все же приехала. Несмотря ни на что, я была ей, конечно, рада. Но оказалось, что она не на внука посмотреть явилась, не по мне и не по внучке соскучилась, нет, она приехала сказать, что выгоняет отца из дома и требует, чтобы и я его на порог не пускала. В первый раз я тогда воспротивилась её воле и сказала, помнится, очень твердо, что, может быть, он для неё плохой муж, но для меня он всегда был добрым и заботливым отцом. Я гово-

рила правду. Я любила отца всем сердцем и, в какой бы зависимости от матери ни находилась, выгнать отца из своего дома было выше моих сил.

Мама вспыхнула:

— Ты такая же дура, как твой папаша!

Я промолчала.

И тогда, глядя мне прямо в глаза, она сказала преувеличенно ровным голосом:

— Если так, то у меня нет больше дочери!

Круто повернувшись, она ушла. Да, только она умела так поворачиваться – так, что становилось больно в груди. После этого мы не виделись с ней несколько лет (очень трудных для меня лет!) и встретились на похоронах бабушки Поли. Я неожиданно для себя разревелась у гроба в голос. Плакала и мама, беззвучно и без слёз, все равно, я видела, что она плачет, время времени она даже прикладывала к глазам носовой платок, но по-прежнему высоко держала голову. Внешне мы помирились, но я тогда уже чувствовала, что трещина между нами стала пропастью.

Когда Ванечке исполнилось три года, он перестал болеть, и наша жизнь стала спокойней. Нам бы Бога благодарить, а мы... Два аборта сделала почти подряд. Никто не заставлял. И мама тут ни при чем. Хотя... Мне кажется, что она всегда рядом, и я не могу принять ни одного решения, хотя бы мысленно не посоветовавшись с ней. Она бы не разрешила родить еще двух детей, я точно знаю. Да и муж был против их рождения. И все же... Надо было рожать назло всем! Нет, что кривить душой, я сама испугалась. Испугалась трудностей, связанных с появлением ребенка, и потому так легко согласилась с аргументами мужа и пошла на аборт. Стала бы я с ним считаться, если бы не испугалась сама!..

Бог не наказывает нас, Он нас вразумляет по Своему безграничному милосердию. Но мы не хотим вразумляться. Если бы хотели, то видели бы и слышали Его предостережения, и тогда, возможно, не совершали бы столько ошибок в жизни. После третьего аборта я сильно заболела болезнью щитовидной железы. Ходила по врачам, выполняла все рекомендации, но болезнь не отступала. Именно тогда я познакомилась с Ольгой. Если бы знать, сколько несчастья принесет

мне эта хрупкая миловидная женщина, я лучше бы уехала жить в другой город или в деревню, где пустовал бабушки Полин дом!

Но до Ольги в моей жизни появилась еще одна подруга. Её звали Лариса. Она была верующим человеком: ходила в храм, много читала, ездила по монастырям. Лариса купила мне молитвослов, рассказала об исповеди и причастии. Я слушала её, пыталась молиться, но сердце моё не оттаивало. И болела я всё сильнее. Появились обморочные состояния, резкие скачки давления. Я бегала от врача к врачу, но силы мои день ото дня уменьшались. Каждую ночь из угла, где стоял книжный шкаф, появлялась черная старуха. Лица её я не могла разглядеть, но чувствовала, как она смотрит на меня, и оттого, что она молчит, мне становилось еще страшнее. Днем я забывала о ней, но ночью она приходила снова, и я знала, что это моя смерть. Надо было молиться, но я не могла, слова застывали у меня в горле.

Что было бы дальше, я не знаю, но тут одна моя знакомая по старой работе посоветовала мне обратиться за помощью к экстрасенсу (тогда это слово еще не было ругательным). Когда человек болеет тяжело и долго, он на многое согласится, лишь бы получить исцеление. И я пошла.

Экстрасенса звали Ольгой. Это была женщина моего возраста, блондинка с внимательным взглядом круглых, почти черных глаз. Круглые глаза и острый носик придавали её лицу птичье выражение. Это почему-то располагало. После грубостей, которыми тебя встречают в церкви, обычное вежливое обращение и то покажется добрым. Ласковое слово, как говорится, и кошке приятно. Я растаяла с первой же встречи. Мы стали подругами. С Ларисой я больше не общалась, отложила молитвослов, стала ходить на сеансы к Ольге и очень скоро почувствовала себя намного лучше.

Как сейчас помню первый сеанс. Ольга усадила меня напротив себя и долго молча смотрела мне в глаза, потом встала за моей спиной, и я увидела отражение в зеркале, как она водит надо мной руками.

— Да, — сказала она многозначительно. — Аура у тебя дырявая. Надо латать дыры. И каналы все забиты, будем продувать.

Я готова была на всё, лишь бы почувствовать себя здоровой.

Господь мудро ведет нас по земному пути. Сейчас я понимаю это и благодарю Его за всё, что Он послал мне. Одного прошу: чтобы

Он простил меня за невольную измену Ему, за то, что я служила силам зла, которые всегда прячутся под личиной добра и так трудно разглядеть под этой личиной истинное и такое страшное лицо.

Итак, за шесть сеансов космической энергетике меня вылечили окончательно. Я летала как на крыльях, мир виделся мне во всех красках, хотелось жить и помогать всем и каждому. Мне и в голову не приходило задать себе вопрос: почему дня через три-четыре после сеанса болезни возвращаются? Много позже я поняла, что мнимое исцеление было своего рода наживкой, которая позволяла держать меня на крючке. И я все глубже заглатывала эту наживку, не чувствуя стального крючка. Однажды при встрече Ольга со своей обворожительной улыбкой, глубоко заглядывая мне в глаза, сказала:

—Света, не хочу скрывать от тебя, это было бынечестно, но явственно вижу у тебя экстрасенсорные способности.

Черный паук тщеславия протянул свою цепкую лапу к моему сердцу. Но я все же смутилась.

— Ну что ты, Оля, я же... Этого не может быть...

— Я помогу тебе — твердо произнесла Ольга. — Мы избраны самим Богом. Я и ты. Мы будем помогать людям. Это наша миссия на земле.

И началось. Оккультный бред разных времен и народов перемешался в выбеленной перекисью водорода головке этой женщины. Индийские йоги и махатмы из Шамбалы, направляющие историю человечества по известному им руслу, Блаватская и Рамачарака, Елена Рерих и реинкарнация, инопланетяне и языческие божества, галактический логос и «огневая струя» Водолея – всем этим пичкала Ольга в мои бедные мозги, потерявшие всякую способность критически мыслить. Не берусь судить, была ли она аферисткой или искренне верила в то, что говорила и делала, но тогда я полностью доверяла ей, а она вела меня как слепую по дороге. По дороге в ад.

Сначала мне было очень трудно. Никак не получалось, например, писать обеими руками сразу разные тексты. Мало того, что не слушались руки, через пару минут голова начинала гудеть и словно разваливаться на части. Но Ольга умела убедить, что на тернистом пути духовного совершенствования необходимо преодолеть все препятствия. Она рассказывала, какие жуткие испытания темнотой и одиночеством в замкнутом пространстве проходят йоги, как на грани

жизни и смерти балансируют при посвящении ученики бхагвана Шри Ражд-ниша. Это были испытания с большой буквы! По сравнению с ними наши тернии казались маленькими колючками, и преодолевать их постепенно становилось всё легче.

Мои способности заметно развивались. Кроме меня в группе было еще одиннадцать женщин. Это были приближенные, а другие – человек тридцать – рядовые, они приглашались не на всякие занятия. На особых семинарах Ольга подключала нас к «эгрегору» поэтов, и мы, медитируя, писали стихи, принимали послания из космоса, работали, как говорила Ольга, на Вселенную. Господи, прости и помилуй!

— Существуют определенные мировые циклы, —учила Ольга.— Каждый из этих циклов продолжается 2350 лет и называется эрой...

И древние греки не слушали с таким вниманием И доверием Дельфийского оракула, как мы Ольгу. Так первоклашки, разинув рты, ловят каждое слово учительницы, открывающей им мир. Собственно, мы и были такими первоклашками, наивными и доверчивыми.

—Была эра Овна, когда духовной иерархией управлял Кришна, великий аватар. Последним аватаром эры Овна был Будда, воплотившийся в принца Гаутаму, — Ольга заглядывала в тетрадку,видимо, некоторые слова и для неё были нелегкими для запоминания.— Сейчас Будда – посредникмежду Шамбалой и духовной иерархией. Потом наступила эра Рыб с аватаром Иисусом Христом. И эта эра подходит к завершению, кончается владычество Рыб, само по себе слабое, водянистое, наступает эра Водолея, яркая и блестящая, и когда она наступит, явится миру сам Майтрейя...

От этой галиматъи, суть которой из нас никто, разумеется, не понимал, да едва ли понимала и сама Ольга, потому что никакой сути в её словах, честно говоря, и не было, как я сейчас понимаю, но от всего этого голова шла кругом, мозг отказывался объективно оценивать происходящее, послушно подчинялся воздействию со стороны учителя.

Я стала у Ольги главной помощницей. Безграничное доверие, которое я к ней испытывала, а также готовность к подчинению чужой воле, привитая мамой, не позволяли зародиться в моих мыслях даже тени сомнения. Скоро я сама научилась «продувать каналы», «раскручивать карму» и разделять людей на «темных» и «светлых». По

этой классификации (мы с Ольгой были, разумеется, «светлыми» и даже более того, «светящимися»), мой сын относился к «темным», а дочь вообще оказалась не моя.

— Твой муж может стать «светлым», — говорила мне Ольга. — Надо тянуть его собой.

И я начала тянуть мужа. Ольга советовала делать это с помощью секса. Секс, согласно её теории, как энергия нижних центров, должен посвящаться космосу. Она же принесла мне не только «Агни-Йогу», но и «Камасутру», и я потеряла всякую скромность, а наши половые отношения с мужем приобрели постыдный и извращенный характер.

Что удивительно, муж мой, этот слабый, в общем-то, человек, любитель футбола и выпивки, был совершенно не расположен к восприятию Ольгиной «премудрости». Он смеялся над моими рассказами о тайном знании, не воспринимал всерьез экстрасенсорные способности Ольги, не говоря уж о контактах с внеземным разумом, не захотел знакомиться с членами группы и ходить на занятия рядовых, куда приглашала его через меня Ольга. Даже над Чумаком и Кашпировским он потешался, называя их «великими комбинаторами» и «мазуриками», а про наши занятия высказался однозначно:

— Чуть собачья!

Кто бы мог тогда подумать, что он окажется прав! Сначала я ссорилась с мужем по этому поводу, потом махнула рукой — живи, как хочешь.

Неожиданно мне открылась одна тайна. Время от времени в группе появлялся мужчина. Лысоватый, с острыми бесцветными глазами, он всегда был одет в серый спортивный костюм и кроссовки, но на безымянном пальце его левой руки я заметила тяжелый перстень-печатку с черным камнем, замысловатую монограмму на котором я не сумела разглядеть. Из наших о нем никто ничего не знал. Ольга говорила, что это бизнесмен, который помогает нам финансами, но однажды я застала их с Ольгой в постели, и тогда она призналась, что это её гражданский муж, особо посвященный, необыкновенной силы экстрасенс, совершающий частые паломничества в ашрамы Индии и Тибета. Оказывается, когда я пришла к Ольге, и он увидел меня, то тут же получил из космоса информацию, что если я не буду лечиться у Ольги, то скоро умру.

—Почему же ты не сказала мне об этом сразу? — спросила я у неё.

— Не хотела тебя пугать, — ответила она. — Ты же посещала сеансы, а значит, смерть тебе уже не грозила. А потом Эл (так она называла мужа) увидел в тебе сильную энергетика... И я увидела тоже. Ярко выраженный аджна-центр.

К тому времени я уже знала, что это чакра между бровями. Я долго разглядывала в зеркало свою переносицу, но ничего особенного там по своей духовной слепоте не увидела. Господи, помилуй меня грешную! Падение моё продолжалось. В то время я почти не думала о муже и детях. Даже о маме надолго забывала. Я была равнодушна ко всему, что не касалось нашей группы. Ведь там была другая жизнь, жизнь «низших», я же принадлежала к касте «высших», и в мою задачу входило хоть сколько-нибудь приблизить людей к небу, к космосу, к тем энергиям, которые изливались на меня в изобилии, а для них пока были недоступны, открыть им горизонты нового сознания.

Однажды Ольга предложила всем сложиться и купить дом на Святом озере. Это была хорошая идея. Там, на природе, можно будет соединиться с «космическим разумом», и больше уже не мотаться в поисках особых энергетических точек по лесам вокруг города, что мы делали довольно часто под руководством Ольги.

— Дышите глубже, наполняйтесь праной, — говорила в лесу Ольга, воздевая руки к небу. — Выдыхайте со словом: о-м-м! Это звук образования Вселенной. Так учил Вивекананда!

И мы дышали сосновым воздухом, чувствуя себя творцами если уж не Вселенной, то, по крайней мере, своей судьбы, медитировали, устанавливая контакт не только со своей душой, но и духовной иерархией, или Светлым братством, как чаще называла иерархию Ольга, подключались к одному из семи потоков божественных энергий.

Иногда я все же вспоминала о православной Церкви, чувствуя нашу оторванность от неё, но и тут Ольга сумела убедить меня в том, что мы якобы и есть истинные христиане.

—Понимаешь, моя дорогая, — говорила она. —В храмах собираются и читают молитвы «низшие», мы же – другие. Сам Христос

сказал, что званых много, а избранных мало*. Те — званые. Мы — избранные. Мы обладаем эзотерическим знанием. Только нам открыто, что Христос действовал не сам по себе — от Крещения до Распятия в Нем пребывал Майтрейя, Всемирный Учитель будущего. Самым светлым из нас дана возможность общаться с Космическим Логосом напрямую, получать от него силу помогать людям, исцелять болезни, вести к свету.

И я, переполняясь гордостью за возложенную на меня миссию, верила ей. Спрашивала робко:

— А как же наши собственные грехи?

— Какие грехи? У нас нет никаких грехов!

— Ну, а... аборт?

— Аборты? — переспросила Ольга, и мне показалось, что она смутилась. — Аборты вполне допустимы, если родители заняты собственным духовным ростом.

— А душа?

— Что — душа?

— Душа неродившегося ребёнка?

Ольга задумалась лишь на секунду.

— Видишь ли, дорогая, душа может подождать следующего воплощения... Да и потом, она же знает, что родители намерены сделать аборт и поэтому не вселяется в такой плод.

— Значит, нет и убийства, если нет души? — облегченно вздохнула я.

— Конечно! — смеялась Ольга. — А ты мне о грехах!

Я соглашалась с её доводами, но на сердце было по-прежнему беспокойно, оно чувствовало, что здесь что-то не так. Большинство женщин в группе было замужем. Почти все мужья, не исключая и моего, видя как у жен сносит крышу, делали попытки вытащить своих благоверных из оккультного болота. Куда там! Космическая энергия была из всех наших чакр как фонтаны на ВДНХ, и помешать ей выйти было равносильно попытке удержать пробку в бутылке с шампанским, которую хорошенько встряхнули.

Каждой из нас Ольга нарисовала своей рукой «дух-покровителя». Изображение это надо было повесить над кроватью, и

* Мф. 20.16; Мф. 22.14; Лк.14.24.

теперь у меня в спальне место Казанской иконы Пресвятой Богородицы занял карандашный портрет молодого человека с неестественно большими глазами, который, как рассказывала Ольга, 33 тысячи лет тому назад был воином в Атлантиде, а теперь, пребывая в Шамбале, незримо защищает меня от всяческих напастей. По странному совпадению, его тоже звали Эл. Так сказала мне Ольга. Эл – значит бог, один из богов низшего уровня. Господи, как далеко, наверно, отошел от меня в то время мой Ангел-хранитель, данный мне при крещении! Но он не покидает нас насовсем, только его молитвами я, должно быть, не погибла окончательно.

Самых продвинутых Ольга поощряла особо. Им посылались «сверху» колечки, камешки, которые необходимо было носить с собой, как обереги. Мне же, как участнице сеансов исцелений, давались, кроме всего прочего, и деньги, что смущало меня лишь первое время, а потом воспринималось как должное.

Дом за сто километров от города все-таки купили вскладчину, но оформили по настоянию Ольги на Эла, по документам – Ильдара Харисовича Ханова. Так я узнала имя таинственного незнакомца.

Лучше бы мы этот дом не покупали! Во-первых, все перессорились с мужьями, которые были против дорогой покупки. Даже мой тихий алкоголик и тот вдруг возвысил голос, но я давно уже его не слушала, да и вообще терпела рядом с собой только для того, чтобы у детей был какой-никакой отец. Во-вторых, ничего хорошего из этой затеи, в конце концов, не вышло.

В мире не существует таких препятствий, которые не преодолела бы женщина на пути к достижению своей цели. Разумеется, «светлые» силы одержали победу над «темными». Именно так думали мы тогда, обустроив приобретенный общими усилиями дом. Прости, Господи!

На Святом озере о нас вскоре пошла дурная слава. И совершенно справедливо. Каждое утро мы абсолютно голые с визгом и криком бежали по лужайке от дома к озеру и бросались в воду. На берегу, никого не стыдясь, делали йоговские упражнения, с помощью которых, как учила Ольга, соединяется низшая природа человека с высшей. Деревня есть деревня. Мы знали, что за нами подглядывают мужчины, но это только раззадоривало нас, а я замечала, что также и возбуждает и доставляет удовольствие.

Здесь, вдали от цивилизации, происходили контакты с инопланетянами. Я не могла признаться Ольге, что у меня нет никаких контактов. И посланий свыше мне не диктовали поначалу. Приходилось всё выдумывать, чтобы поддерживать общее настроение. Наверно, так поступали и остальные одиннадцать сестер (мы называли друг друга сестрами). Это было похоже на игру, условия которой нужно было неукоснительно соблюдать. Но постепенно психика разрушалась. Я уже стала слышать голоса, а во время некоторых наших занятий, находясь в полуобморочном состоянии, испытывала удушье от безграничного счастья, чувствовала неземное благоухание. Когда двое из группы попали в психбольницу, Ольга поставила на них крест, сказав нам, что они не справились с возложенной на них миссией, оказались слабыми и о них нужно забыть. Даже это не насторожило меня, напротив, только прибавило уверенности в своих силах.

Ольга рассказывала нам, что к ней прилетают два инопланетянина – посланцы Светлого братства и подключают её к источнику целительной энергии космоса. Они диктовали ей послания, мантры, которые Ольга давала нам, и мы твердили их, призывая на себя эту энергию. Боже, милостивбуди, мне грешной!

В тот день мы отправились в лес, где Ольга хотела провести очередные занятия. Как-то неожиданно получилось, что все разбрелись по сторонам. Когда я увидела, что осталась одна, то испугалась – леса там дремучие, заблудиться можно в два счета. Я вышла на небольшую полянку и хотела уже крикнуть, как вдруг из-за ёлки появился Эл. Я очень удивилась, потому что, когда мы шли в лес, его с нами не было. Помню, как вздрогнуло сердце, и ослабели ноги, и я прислонилась к стволу берёзы, чтобы не упасть. Мастер, как называла Эламеждунами Ольга, шел мне навстречу, и, честно признаюсь, я уже знала, что сейчас произойдет. Ни слова не говоря, он грубо взял меня за плечи и повернул лицом к дереву. Туманом заволокло моё сознание, и я только одного боялась: вот появится Ольга или кто-нибудь из наших, но этот страх лишь усиливал мою страсть.

Так я впервые изменила мужу. Мне казалось, что после этого весь мир станет другим, но к своему удивлению, ни стыда, ни раскаянья я не почувствовала. Ведь это не было в моем понимании прелюбодеем, а всего лишь очередным соединением с космосом. Ольга ни о чем не догадывалась, и я со своей стороны не испытывала по от-

ношению к ней никаких угрызений совести. Если уж на то пошло, Эл не был её законным мужем, а о моём и говорить нечего, мы давно уже спали в разных комнатах, и он даже не пытался говорить о каких-либо супружеских обязанностях.

Вскоре после того случая в лесу к Ольге снова явились инопланетяне и оставили ей видимый знак на ноге чуть выше колена, похожий на ожог. Не знаю почему, но именно это событие вызвало во мне первые сомнения. Я прогоняла их, но они возвращались снова и снова.

В это время все большую популярность у людей стала приобретать православная Церковь, а на экстрасенсорику открылось гонение в прессе и по телевидению. Ольга с Элом быстро сориентировались, и теперь мы уже не называли себя экстрасенсами, в обиход вошло слово «целители». Но целителям следовало быть ближе к традиции, и тогда восточная окраска нашей группы стала меняться на христианскую. Эл помог Ольге с регистрацией в административных органах, и теперь то, чем мы занимались, официально называлось «Оздоровительный центр нетрадиционной медицины «Радуга». Надо сказать, что нетрадиционные методы лечения приносили немалые деньги. Не могу знать, сколько получали Ольга и Эл, но мои доходы, а они были, разумеется, скромнее, позволяли мне не обращаться за финансовой поддержкой к мужу.

Вот тогда мы поехали в Сергиев Посад. Ольга стала всё чаще поговаривать, что в православных храмах хорошая энергетика. Особенно в Троице-Сергиевой лавре. Конечно, личность Радонежского чудотворца Ольга трактовала в своём духе, но всё же это был некий поворот, который впоследствии, независимо от наших «наставников», многих привел к истинной вере.

Никогда не забыть мне тихое пение и теплый свет многочисленных лампадок над усыпальницей Преподобного. Народу в Троицком соборе почти не было. Несколько туристов, удивленно озираясь, стояли в центре храма, да одинокая монахиня истово крестилась возле большой застекленной снизу иконы — и всё. Мы вошли и остановились у входа, не зная, что делать дальше. Древние лики смотрели на нас, как мне показалось, строго и осуждающе. Я почувствовала себя маленькой и ничтожной. И в то же время незнакомая сила влекла вперед, будто там, за колоннами, около темного иконостаса ждал кто-то

добрый и ласковый, такой, которому ничего не надо даже говорить, просто упасть и прижаться к его коленям.

Ольга повела нас следом за монахиней. Мы прошли вдоль солеи к южным дверям, где тускло отливала серебром рака с мощами святого. И как только я увидела её, сразу поняла, что вот он-то и ждёт меня давным-давно, ждет с любовью и радостью, такую маленькую и никчемную.

На солее возле высокого серебряного подсвечника монахиня опустилась на колени. Мы последовали её примеру. Когда, поднявшись с колен, я сделала несколько шагов вперёд и прикоснулась к раке губами, дрожь прошла по всему моему телу, будто по нему пропустили ток. Такого я не испытывала никогда.

—Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславныйчудотворе-о-о-орче...

Голоса доносились из полумрака, светлые, наполненные верой и недоступной мне радостью. Казалось, что так могут петь только ангелы. У меня было такое чувство, словно я потеряла что-то очень дорогое, но никак не могла вспомнить, где, когда и что именно.

А между тем по Божьей воле тучи над группой стали сгущаться. Несколько знаменательных событий последовало одно за другим. После поездки в лавру случился пожар в квартире, которую мы снимали для занятий, и в этом пожаре сгорела икона преподобного Сергия. Все увидели в этом недобрый знак. Потом нас выгнали с другой квартиры, и со следующей тоже попросили весьма вежливо, а в заводском Доме культуры без объяснений отказали в аренде помещения. Мои сомнения продолжали расти, и это, видимо, почувствовала Ольга. Чтение «Агни-Йоги», рассказы о Шамбале, инопланетянах и миссии света уже слабо действовали, и она старалась увязывать восточную эзотерику с христианским учением, в котором сама мало что понимала, ну а я и того меньше. Тогда мы изучали «Диагностику кармы» Лазарева и часто заходили в православные храмы для того, чтобы «напитаться энергией». Помню, я обратила внимание на исповедующихся людей и задала Ольге вопрос: не надо ли и нам исповедаться? Она ответила отрицательно, как будто даже испугалась чего-то.

—Что ты! — сказала она, удивленно моргая своими круглыми глазами. — Я же тебе уже говорила, что у нас нет грехов. Это «тем-

ным» требуется исповедь, а не нам. Мы – избранные, не забывай об этом. Мы подключены к источнику космических энергий напрямую и посредники нам не нужны.

Потом, точно специально было подстроено, со мной «беседовал» Эл. Он позвонил мне сам впервые и пригласил прийти к Ольге домой. Я растерялась и от неожиданности сразу ответила согласием. В чем другом, а в интуиции мне не откажешь, и Ольгины занятия весьма сильно развили её, поэтому, хоть я и не признавалась себе, но прекрасно знала, отправляясь на встречу, что там меня ждет. Понятно, что Ольги не оказалось дома, и наша «беседа», не начавшись, закончилась постелью. На этот раз мне было неприятно общение с Элом. Такое чувство, точно ты вывалилась в грязь и очень хочется помыться. Что я испытывала к этому человеку? Сейчас понимаю: страх. Не физический. На физическом уровне меня к нему все же тянуло. Нет, этот страх был другой природы – духовной, психологической. Что-то похожее я чувствовала по отношению к маме. Наверно, это можно было назвать зависимостью.

Правда, я все же осмелилась задать вопрос: — Как это так, все в Ольгиной семье целители – брат, сноха, сестра, даже соседка? И все «великие»? Я не решилась добавить в этот список его самого, но Эл и так, думаю, догадался. Он лежал с закрытыми глазами в позе «шавасаны», широко раскинув руки. На черном камне в его перстне был изображен глаз, помещенный в треугольник. Я видела, как веки его дрогнули. Приподнявшись на локте, он внимательно посмотрел на меня и ответил, что избирает не человек, а сама духовная иерархия, и то, что в число избранных попала семья Ольги, воля высших сил и не нам об этом размышлять.

— Вот, я вижу над твоей головой свет, — говорил Эл. — Ты тоже из числа избранных. У другихнет этого сияния. Твоя аура имеет золотистый оттенок, это большая редкость среди людей. Я возьму тебя с собой в Индию, чтобы ты могла приобщиться к великой мудрости там, где живут Великие Мастера. Там...

— А у тебя какая аура? — спросила я, больше, пожалуй, из желания прервать его монолог, который на меня действовал завораживающе.

— Разве ты не видишь? Включи духовное зрение.

Он приблизил ко мне своё лицо. Его мертвый оловянный взгляд сверлил мой лоб в том месте, где находится третий глаз, и я почувствовала головокружение и слабость.

— Видишь? — проговорил он настойчиво. — Такая же золотистая, как и у тебя. Да? Ведь ты видишь?

У меня перехватило дыхание.

— Да.

Эл протянул руку, и я увидела совсем близко черный камень. Казалось, что глаз в треугольнике смотрит на меня. Желание задавать вопросы исчезло. Всё было ясно и понятно. Хотелось только как можно быстрее освободиться от этого взгляда. Усилием воли я сумела подняться с кровати и, не подавая вида, что мне плохо, пройти в ванную. Закрыв защелку на двери, я включила воду и заплакала, и если бы меня спросили, о чем, я не смогла бы ответить. Под холодным душем стало легче. Я стояла, закрыв глаза и бессильно опустив руки, а струи воды стекали по моему телу, но мне казалось, что оно не становилось чище. Тогда я подумала, да и теперь так думаю, что Эл в какой-то степени владеет гипнозом и использует этот дар, когда надо, в своих интересах.

В ту ночь после встречи с Элом мне было видение. В тонком сне я увидела Сергея Радонежского, который соединил мою руку с рукой Ольги и благословил на целительство. Во сне я силилась понять — что же в облике чудотворца было не то? Лицо, скрытое темным капюшоном, а может, одежда, совсем не похожая на монашескую? Прикосновение ледяных пальцев?.. Не знаю. И только проснувшись, вспомнила: на нем не было креста! Мне стало страшно, и я не рассказала о видении Ольге. Мне вообще не хотелось с ней видеться. И даже не из-за Эла. В конце концов, никаким мужем он ей не был, пусть она других держит за дурочек и рассказывает о бизнесмене, мастере или муже — я-то знаю не хуже её, кто такой Эл.

Спустя некоторое время я решила уйти из группы. Обычно я не колеблюсь в принятии решения. Так и тут: сказано — сделано. Только оказалось всё не так-то просто. Сразу вернулись мои болезни, а «сестры» объявили мне войну в прямом смысле этого слова. Мне угрожали, пытались запугать незнакомые голоса по телефону, но самое страшное — я постоянно чувствовала присутствие Эла. Куда бы я ни пошла, что бы ни делала, он был рядом со мной. Доходило до фи-

зических ощущений, и я боялась, что схожу с ума. Однажды, когда дома никого не было, мой страх достиг такой степени, что я не знала куда деться – металась по комнате, плакала в голос. Не помню, как мне в руки попал молитвослов. Открыв его на первой странице, я начала читать подряд все, что там было написано. Стало немного легче, но как только я прекращала чтение, жуткая тоска обрушивалась на моё сердце, и я, не зная, куда от неё деться, начинала читать предначинательные молитвы в очередной раз. В конце концов, забившись под стол и сжавшись там в комок с молитвословом в руках, я забылась сном. В таком положении и застал меня вернувшийся муж. Хорошо, что с ним не было детей. Он сильно перепугался.

—Что с тобой? — спрашивал он, глядя меня по голове, и в голосе его чувствовалось неподдельное сочувствие. — Что с тобой, Света? Может, стоит показаться врачу?

У меня дрогнуло сердце, но я тут же взяла себя в руки. Неожиданно для себя, я грубо послала его подальше, крикнула, чтобы он больше не задавал мне глупых вопросов. Он отшатнулся, как от удара, и больше никогда до самого развода ни о чем меня не спрашивал.

Не могу описать, каких трудов стоило мне порвать с прошлым, но все же я это сделала, за что благодарна милосердному Богу, который не оставил меня, заблудшую.

Процесс возвращения был не только мучительным, но и долгим. Сначала мне повезло. Я стала посещать православные церкви и как-то раз попала на службу в храм, где старенький священник читал проповедь об абортах. И так она меня затронула, что мне казалось, будто сердце в груди горит огнем. Видно было, что батюшка болен и сильно устал, он говорил, стоя на самом краю амвона, и смотрел на прихожан, а мне виделось, что он смотрит только на меня, и взгляд его, не осуждающий, а жалеющий, прожигал мою душу.

—Бедные мои, — говорил он тихо, — бедные! Вы младенцев жизни лишили, но души их не погубили, нет, они у Господа в своем месте, в светлом. Асами-то, сами-то вы как? Ведь что здесь запасёшь, то и туда понесёшь. Как Богу в глаза поглядите? Молиться вам надо неустанно. У Бога милости много – Он на кресте всему миру объятия раскрыл: придите!..

Не помня церковных порядков, я все же подошла к священнику и попросила меня исповедовать. Он посмотрел на меня, будто в душу заглянул, так она затрепетала, и спросил:

—Что, горит сердце-то?

Я задохнулась от подступивших слёз и ничего не ответила. Батюшка вздохнул и повел меня к аналою в углу храма возле большой иконы Богородицы «Споручница грешных», терпеливо выслушал мой сбивчивый рассказ и спросил только:

—Каешься ли в грехах своих, дочка?

Я заплакала и сказала, что каюсь, и я, действительно, каялась, хотя почти ничего священнику не рассказала из того, что со мной произошло.

Он накрыл мне голову епитрахилью и, наклонившись, произнес с любовью и теплотой, какой я уже давно не слышала:

—Ниже, ниже нужно наклонять голову, дочка. Не передо мной, перед Господом склоняешься.

Эти слова с новой силой обожгли мне сердце, я запомнила их навсегда. И еще помню, как вздрагивали мои плечи под епитрахилью, пока батюшка читал мне разрешительную молитву.

—Ты, дочка, молись, — сказал он мне на прощанье. — От души молись. Глянь-ка, видишь, в храме светло? Это от свечки малой. А в душе от молитвы светло бывает. Вот и освещай душу-то, гони прочь из неё темноту...

Чудная была встреча. Но Господь тогда только указал мне путь, но не прекратил испытания. Может быть, все сложилось бы по-другому, да отец Анатолий (так звали того священника) через два месяца умер, духовные чада его осиротели и разбрелись по разным храмам.

Без опытного рулевого и самый лучший корабль садится на мель, что уж говорить о моем углу челноке! Отыскав, как мне казалось, истину, я с головой окунулась в православную жизнь. Но по привычке и тут искала чудес, таинственных знамений и откровений свыше.

Кто ищет, тот найдет – давно известно. Однажды на службе в одном из храмов я встретила свою прежнюю знакомую – Ларису. Она очень изменилась с тех пор, как мы не виделись: в черном платке и длинной, в пол, такой же черной юбке, Лариса была похожа скорее на

монахиню, чем на жену известного телеведущего. Впрочем, оказалось, что с мужем она давно развелась и теперь всю себя посвятила спасению души. Читала по четкам Иисусову молитву пять тысяч раз в день в обязательном порядке, и порой во время молитвы ей улыбались домашние иконы. По дороге домой она рассказала, что теперь часто ездит по святым местам, благословляется у старцев, которые наставляют её на путь истинный.

— Да вот, — всплеснула руками Лариса, — скоро будет поездка в соседнюю епархию, в один монастырь, — и, оглянувшись по сторонам, почему-то шепотом закончила, — на отчитку к старцу Епимаху. Если хочешь, поедem с нами.

И я поехала. Тогда, в первый раз, я не попала к старцу, но видела его совсем близко. Старец был высокого роста, но сгорбленный, и потому казался ниже и как-то доступнее. От его седой бороды так сильно пахло розовым маслом, будто он весь им пропитался с головы до ног. Он медленно шел среди народа, раздавал направо и налево благословения, некоторым что-то шептал, наклоняясь, а люди с благоговением шли за ним по пятам, стараясь хотя бы прикоснуться к его одежде. Меня это так поразило, я думала: вот она где, святость-то истинная! Таким, наверно, был преподобный Сергей. И сердце моё трепетало.

За два дня жизни в монастырской гостинице в моем сознании произошел настоящий переворот.

Я узнала из разговоров паломниц, что прежде, чем каяться в своих грехах, нужно принести покаяние за грех цареубийства, что все мы, оказывается, нарушили клятву Земского собора 1613 года о верности царю и потому на нас лежит Божие наказание. Мне разъяснили, что истинными руководителями Церкви, оказывается, являются старцы, только они непогрешимы и ведут народ к спасению, а архиереи, и белое священство в особенности, поголовно отступники, пьяницы и курильщики, которых и слушаться-то грех, потому что с ними попадешь только в ад.

— Видишь, — шептала мне на ухо Лариса. — Вот кого надо слушать — старцев. На них — благодать. Без благословения старца ничего делать нельзя. Забудь про свою волю и подчинись духовнику — только так спасешься. А ты к священникам городским ходишь, зачем? Что они тебе могут посоветовать духовного? Они же не о Боге дума-

ют, не о людях, а как бы брюхо своё набить. Понимаешь теперь, почему наш владыка не благословляет сюда ездить?

Честно говоря, я не понимала, но списывала это на своё неофитство. Вон ведь, сколько народа в обитель стекается – и все за словом старческим, все с благоговением и трепетом его ждут. Я сама слышала, как женщина спрашивала у старца, крыть ли ей крышу у сарая, и он, благословляя её, говорил, что крыть крышу не надо, все равно сарай сгорит. Своего дара провидения старец не скрывал, и это поразило меня до глубины сознания: уж если такие мелочи старец видит, то, что говорить о проблемах духовных?

В следующий приезд побеседовать с батюшкой Епимахом мне все же удалось. И это было также удивительно, потому что из толпы народа, волнуемой у его кельи, он выбрал меня. Я едва не задохнулась от волнения.

— Ну, — сказал старец, и взгляд его пронзительных синих глаз проник в мою душу, — чай, с мужем живешь?

— С мужем, — робко ответила я.

— Конечно, — нараспев произнес старец и махнул мягкой ладошкой. — И не ведаешь, поди, грешница, что в семье спастись нельзя?

— Не ведаю, батюшка.

— То-то! Ведь ты и не венчана, наверно?

Во рту у меня пересохло.

— Не венчана.

— О-ох, грех-то, грех-то какой! — тенорок старца зазвенел с особой силой. — В блуде живешь! Аговоришь — с мужем! Какой же он тебе муж? Дети у тебя незаконнорожденные... Да... Есть ведь дети-то?

— Есть. Двое — девочка и мальчик.

— Спасать их надо. И душу свою спасать. Молись Господу о грехах своих великих!

— Молюсь, батюшка.

— Как ты можешь молиться, в блуде живя? Не-е-т, это, милая, не молитва.

— Что же делать-то, скажите? — сердце вырывалось у меня из груди, и слезы катились по щекам. Я готова была выполнить любое указание старца.

— Как – что делать? Молись да с мужем разводишься. В монастырь тебе дорога. Может, там сумеешь замолить свои грехи, коли усердия хватит... Другого пути нет. Не сделаешь – гореть тебе в огне-неугасимом, там, где тьма крошечная и скрежет зубов!

Когда я выходила из кельи старца Епимаха, сознание почти покинуло меня. Я шла к гостинице на ватных ногах и чувствовала, как привычный мир рушится у меня на глазах. «А дети-то, — вдруг с ужасом вспомнила я, — дети-то? Про детей у старца я и забыла спросить. Как же быть с ними?». Носнова попасть к прозорливому батюшке мне удалось лишь спустя некоторое время.

Мы приехали в монастырь Великим постом на Крестопоклонной неделе. Отец Епимах, как сказали нам, готовился к соборованию. Промысел, подумала я, потому что очень хотела пособороваться, а уж у батюшки, так и тем паче. Перед началом таинства старец исповедовал нас и опять спросил меня, с мужем живу или одна. Мне показалось, что он меня не узнал, да и как узнать — к нему со всей округи толпы паломников приезжали. Услышав, что живу с мужем, батюшка снова посоветовал мне расторгнуть брак и уйти в монастырь. И тогда я спросила:

—Как же так, батюшка, ведь Господь благословил людей жить вместе и сказал: плодитесь и размножайтесь?

Старец возмущенно отшатнулся и произнес с гневом:

—Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн!*

Я не поняла, почему я соблазн старцу, но он, несколько успокоившись, разъяснил, что читать мне, грешнице, следует не Ветхий Завет, а Новый, в котором Христос отдает явное предпочтение безбрачию.

—Ты открой Писание-то да почитай, а не умствуй! От Матфея девятнадцатую главу смотри. Лучше не жениться, говорят ученики Спасителю, а Он и согласился: не все, говорит, вменяют слово сие, но кому дано**. Во-от. А ты должна вместить! — сурово закончил батюшка и сверкнул синими глазами из-под седых кустистых бровей.

Я потом говорила на эту тему с Ларисой, недоумевая, как же без брака будет продолжаться род человеческий? Но та не мудрство-

* Мф. 16. 23.

** Мф. 19. 10-11.

вала, а выполняла, ничтоже сумняшеся, что говорил ей старец. Однако в монастырь не ушла, хотя он и ей советовал.

— Тебе-то какое дело до рода человеческого? — пожала плечами Лариса. — И зачем ему продолжаться, если до конца света остались считанные годы? Ты о спасении души думай. Послушание, как говорит батюшка, превыше всего, даже поста и молитвы!

— А если он ошибается? — не унималась я.

— Кто?

— Батюшка Епимах.

— Ты что, сестра, совсем уж того? Как это батюшка может ошибаться, он же старец!

Много раз перечитала я то место в девятнадцатой главе Евангелия от Матфея, где Христос говорит о браке, но никакого явного предпочтения безбрачию в словах Спасителя не нашла. Нашла, зато, другое. Он сказал: что Бог сочетал, того человек разлучить не может*. Как же разводы? Ладно, мой брак не был венчан в церкви, а Лариса, например? Она ведь по слову батюшки развелась с венчанным мужем? Голова моя пошла кругом, и я решила не думать на эту тему, а при случае, если удастся, поговорить со старцем.

В следующий приезд в монастырь я набралась храбрости и задала давно уже мучивший меня вопрос о детях.

— А что – дети? — ответил старец. — Чай, непод стол пешком ходют. Будут при тебе пока, а там Господь устроит.

— Им ведь учиться надо, — попыталась возражать я, на что отец Епимах сердито сказал:

— Во многая мудрости много печали. Не я говорю – Екклесиаст, сиречь, Проповедник. Так-то. Зачем им учиться, когда кончина мира не за горами? О душе думай! Не читала разве слова Божия: «Всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную»? ** Не-ет, милая, вот пройдешь нынче таинство святого елеосвящения и всё — решайся!

И я решилась. Муж молча посмотрел на меня глазами побитой собаки, хотел что-то сказать, но передумал, махнул рукой и вышел,

* Мф. 19. 6.

** Неполная цитата. Мф. 19. 29.

плотно закрыв за собой дверь. С тех пор я стала жить одна и, слава Богу, ни разу не пожалела. Правда, полностью наказ старца выполнить мне тогда не удалось – в монастырь я не ушла, но и в этом вижу промысел Божий, потому что теперь о монашестве не помышляю.

Как-то побывала я и на отчитке, которую проводил отец Епимах. Меня увиденное сильно напугало: люди во время молебна кричали не своими голосами, бились на полу в судорогах, а батюшка кропил их святой водой и прикасался к голове каждого одержимого коротким копнем, изгоняя, таким образом, невидимых бесов. До конца процедуры я не выдержала – в ужасе покинула храм, дрожа всем телом. Когда после отчитки старец отдохнул и пригласил нас с Ларисой в келью, я, все еще трепеща, спросила:

— А они не вернуться?

— Кто? — устало спросил батюшка. — Бесы, что ли?

— Да.

Старец некоторое время молчал, поглаживая бороду и сердито поглядывая на меня своими пронзительными глазами.

— Маловерка ты, Фотиния, — наконец произнесон. — Маловерка, — и еще помолчав, добавил: — А ты верь. Не думай, а верь. Вижу, сидит в тебе червь сомнения. Да. Но мы его изведем, не сомневайся. Крепко слово Господне. Он сам изгонял бесов и ученикам сие заповедал: больных исцелять, бесов изгонять, мертвых воскрешать!

— Неужели и мертвых? — ахнула Лариса.

— А ты как думала?! — грозно сказал старец. — И мертвых. Писание не знаете, маловеры! С Божией помощью всё возможно. Так-то!

Долгое время все, что говорил отец Епимах, было для меня законом, он даже во сне мне являлся и давал различные советы, но, видно, так уж я устроена: со временем и тут меня стали одолевать сомнения. В ту пору как раз церковный народ разделился на сторонников новых паспортов и ИНН и противников. Только об этом и было разговоров в монастырских гостиницах, в электричках и паломнических автобусах. До крупных ссор дело доходило. А суть всех дебатов сводилась к обвинению архиереев и даже патриарха в масонстве и содействии приходу антихриста. Противники ссылались на авторитет таких старцев, как архимандриты Кирилл (Павлов) из Троице-Сергиевой лавры и Иоанн (Крестьянкин) из Псково-Печерского

Успенского монастыря. Будто бы они также не благословляют брать паспорта нового образца и налоговые номера, заменяющие имя человека, данное ему при крещении. С ними спорили и опровергали, журналы публиковали интервью уважаемых старцев, где они отказывались от приписываемых им радикальных заявлений.

К ревностным противникам новых паспортов и присвоения идентификационных номеров, якобы содержащих в нумерации число зверя, примкнул и старец Епимах, с которым тогда мы встречались — очень часто. Он и нам советовал отказаться от ИНН и не получать паспорт.

—Как же нам жить, батюшка? — спросила я. —Ведь паспорт — основной документ и без него никак в миру не обойдешься. И номера налоговые насильно на работе брать заставляют.

Старец смотрел поверх наших голов синими глазами и говорил полупшепотом:

—Не я ли вам советовал уходить из мира, а? Вмиру, дорогие мои, не спасетесь. Видите, как антихрист наступает? Последнее время, детушки!* Гоги Магог... Да-а... Теперь — или с ним, или со Христом, другого не дано! Господь предупреждал, что нас будут всюду гнать и поносить... И будете ненавидимы всеми за имя Мое**. Что же вы испугались? Вот, наступает и уже наступило это время. Сбывается обетование Спасителя! Но Он же нас и утешил: радуйтесь, говорит, и веселитесь, ибо мздаваша многа на небесах!*** Вот оно как, да...

Послушаешь старца, вроде, все становится ясно, и сил, вроде бы, прибавится, а уедешь да других слушаешь — опять разброд в голове и в сердце. И все же до поры все монастырские насельники казались мне истинными героями, страдальцами за веру, в наш век идущими на подвиг. Они, спасители душ наших, предупреждают нас об опасности. Они молятся за нас неустанно. Только их молитвами сдерживается приход в мир антихриста. Однажды я была на проповеди в одном соборе, так там батюшка, бесстрашный такой, прямо с амвона вещал:

* «Дети! Последнее время», 1Ин. 2.18.

**Лк. 21. 17.

*** Неточная цитата. Мф. 5.12.

— Не берите новых паспортов, не давайте о себеникаких сведений чужим людям, которые занимаются якобы переписью населения, а сами служат дьяволу, собирая данные для компьютера по имени Зверь! Нет, братья и сестры, не поддадимся на обман! Это пока только проба сил, потом будет поздно: вам вживят под кожу чип, и тогда вы уже не сможете противиться воле сатаны, вы будете служить ему. Что же это, как не печать антихристовая, о которой говорил еще апостол Иоанн Богослов? Не верьте толкающим вас в ад, дорогие! Лучше пострадать здесь, на земле, чем лишиться вечных благ на небе!

Горячо говорил, хоть и молодой. И все-то правильно, по Евангелию... А потом я прочла в одной газете, что все монастыри давным-давно приняли ИНН. Меня будто ударили. Почему-то я сразу поверила этой публикации, и наступило разочарование. В состоянии депрессии Господь привел меня в Воздвиженскую церковь к отцу Виктору, который при первой же встрече многое мне разъяснил. И про ИНН, и про паспорта, и про число зверя, и про почитание царя Ивана Васильевича и Григория Распутина, которым в последнее время увлеклась Лариса, и про конец света.

Отец Виктор тоже был не молод. Невысокий и худощавый, он прихрамывал на левую ногу и носил старомодные очки в толстой оправе, из-под которых смотрел на людей как-то по-особому жалостливо и устало.

— Кто ж это тебя, милая, напугал-то? — улыбаясь, спросил он. — Что за фобии сплошные: антихрист, конец света!.. И при чем тут, скажи на милость, паспорта? Разве можно человека насильно заставить служить дьяволу?

— Старец Епимах говорил...

— Ты и старцев знаешь? — все с той же доброй улыбкой перебил меня отец Виктор.

Я вздохнула.

— Знаю.

— Вон как! А я так — нет.

— Ну как же? Мы постоянно ездим в монастырь к старцу Епимаху...

— А-а!

— Да вот, — мне стало почему-то обидно за отца Епимаха, но в то же время, я чувствовала это, в словах священника была какая-то

другая правда. — Он нас жить учит.

Отец Виктор развел руками:

— Ну что ж, это хорошо. Учиться жить никогдане поздно, только голову свою при этом терять неследует. Бывают такиелжестарцы, которые заслоняют собой Бога.

Я почувствовала, как у меня краснеют уши.

— Да-да, случается и такое, — продолжал священник. — Лжестарцами-то таких Святейший Патриарх назвал. Их в наше время немало. Так что не всякий старик — старец, — отец Виктор смущенно улыбнулся. — Но я не про вашего отца...э-э, как его?

— Епимаха.

— Ну да, Епимаха... Имя-то какое!

— А что — имя? — все еще задиристо спросила я.

— Да это я так! Имя, говорю, редкое — Епимах. Значит — воин, в переводе-то. Это ведь хорошо, мывсе воины Христа Бога нашего — так при крещении нам определено.

Я слушала, и слова этого грустного старого человека бальзамом ложились мне на душу, как будто он открывал мне что-то такое, что я сама давно знала.

— А напугал он вас все же зря, — с сочувствием вздыхая, сказал отец Виктор. — Священный Синод и Богословская комиссия давно разъяснили позицию Церкви по поводу ИНН, паспортов и всехэтих новых «страшилок». Читать, милая, больше надо. Тогда будешь знать, что личное мнение хотькакого священника или монаха это еще не мнение всей Церкви, оно, к сожалению, личное-то наше мнение, может быть ошибочным...

В другой раз после службы я рассказала отцу Виктору, что развелась с мужем по совету старца, и теперь живу с детьми одна. Отец Виктор покачал головой и сказал:

— Если ты сама решила по каким-то веским причинам, это одно дело, да и то надо знать, что Церковь не одобряет распад семьи, только в крайних случаях допускается развод.

— Но разве в семье спасешься? — невольно повторила я слова отца Епимаха.

— А почему же нет? — удивленно посмотрел на меня из-под очков отец Виктор. — Господь благословил брак, и Церковь по Его примеру благословляет.

— Там, в монастыре, многие оставили мужей и жен, чтобы спастись. Старец благословил, а послушание – превыше поста и молитвы.

Отец Виктор засмеялся.

— Что ты, милая? Разве это послушание? Послушание в умении слышать волю Божию. А иначе – это бегство от ответственности, от своего креста. Как же ты распоряжаешься бесценным даром Господа – свободой? Отвергаешь её? А вот апостол Павел учил: стойте в ней, говорит, это в свободе-то, значит, и не подвергайтесь опять игу рабства.

И я почувствовала, что он попал в самую точку. По инерции спросила зачем-то еще:

— Но он же ближе к Богу?

— Кто?

— Старец. Или священник. Вы, например. Разве вам не лучше известна воля Божия о человеке?

— Полно, милая! У Бога нет внуков, у Него все – дети! Все на одном от Него расстоянии, и всех Он любит одинаково.

— А старчество как явление?

— Ах, так! Да было такое уникальное явление в России чуть не двести лет назад. Слышишь ли – уникальное! А уже святитель Игнатий Брянчанинов говорил, что духоносных наставников сейчас нет. Это в его-то время – нет! Во-от. Актерством и комедией называл он, когда кто-либо брал на себя роль древних Старцев.

— Как же людям учиться? Где набираться мудрости?

Отец Виктор строго сказал:

— В Евангелии. В Церкви. Но это не так просто, как кажется. Но просто в духовной жизни ничего не бывает.

Я это уже давно поняла.

К отцу Епимаху я больше не ездила. Нет, я не перестала его уважать, просто не чувствовала необходимости. В своем храме можно было получить ответ на любой вопрос. И ответы эти были ясными и понятными. С Ларисой мы постепенно перестали общаться после того, как я отказалась поехать с ней в один недалёкий монастырь в соседней епархии, где, по её рассказам, всех перекрещивают, потому что мы будто бы крещены неправильно — обливанием, а нужно крестить полным погружением, как крестился Сам Христос. Я возразила

ей, потому что видела, как погружали в купель моих детей, значит, и меня в детстве также погружали, почему же мне надо перекрещиваться?

— Глупая ты, Света! — с возмущением сказала Лариса. — Вот запишут тебя в компьютер по имени, которое в паспорте, так?

— Ну, так.

— Ага! И пусть себе пишут, сколько угодно. Мы-то ведь у Бога же под другим именем ходить будем. Поняла?

— Поняла! Только получается, что мы обманом от сатаны скрываться станем?

— А что с ним церемониться? И прозорливые старцы так советуют.

Я вздохнула.

— Что-то тут не то, Лариса. Неужели Христос благословит на такое?

— Старцы лучше тебя знают, на что Он благословит, а на что нет.

— Давай не будем про старцев.

— Мозги у тебя, Светка, набекрень, вот что я скажу! Спасаться надо любыми способами. Я вот и внука с другим именем крестила. Малышу ведь в своё время поставят индикатор, никуда от этого не денешься, а имя-то у него другое, не то, что в документах! А?

— Я слушала подругу и все отчетливее понимала, что это какой-то бред.

— Отец Виктор говорил, что бесовскими способами беса не победить...

— Отец Виктор? — усмехнулась Лариса. — Нашла наставника, он же обновленец!

— Никакой он не обновленец! — возмутилась я. — Никакой не обновленец, он людей любит и Христа. Он все по Евангелию говорит.

— Что он говорит?

На мгновение я растерялась.

— Ну... вот хотя бы, что перекрещиваться нельзя: один Бог, едина вера, едино крещение!

— А если оно было неправильное, крещение твоё? — с раздражением спросила Лариса.

— Почему же неправильное?

— Потому! — Лариса не захотела больше спорить, махнула рукой и, обидевшись, уехала одна. Наверно, перекрестилась и теперь уверена, что спряталась от лукавого за тайным именем. Бог ей судья.

Все больше я привязывалась к отцу Виктору, точнее, к его приходу, моя душа обрела, наконец, покой и мир, я научилась молиться без страха, с радостью и благоговением и всё, казалось бы, выровнялось в моей жизни. Когда умер мой отец, я попросила отпеть его нашего батюшку, он съездил со мной и отпел отца — безбожника, а потом меня поругал, что я уделяла покойному мало внимания, что не предложила ему даже исповедаться и причаститься Святых Тайн. Мне было очень стыдно, и я подумала, что надо встретиться и поговорить с мамой — так давно мы не общались. И тут я опоздала, она умерла без покаяния и причащения. Прости меня, Боже милосердный!

Читая Евангелие, я часто думаю, что же такое человек в этом мире? Почему он изначально не знает верного пути, мятется, сомневается, падает, но все же встает и снова карабкается вверх? Вечный бой между Богом и дьяволом, как говорил Достоевский, а место битвы — душа. Что же она такое, если за неё сражаются такие грозные силы? Трость, ветром колеблемая? Бесплодная смоковница? Или лодка, носимая волнами житейского моря? А может, ни то, ни другое, ни третье. Может, она — птица, сидящая на зеленой ветке, свободная и... одинокая? Где же истина? Истина — Христос. Теперь я знаю это. Он и Путь, и Жизнь*. Но как обрести Его? Как не ошибиться, ведь Он и Сам говорил, что многие придут и назовутся Его именем? ** Как прожить так, чтобы после смерти посмотреть Ему в глаза и не испугаться, а обрадоваться?

Смирненную и кроткую бабушку Полю, которую при жизни, казалось, и не знал-то никто, хоронил весь поселок. Тихого алкоголика моего отца, запуганного своей женой, провожала в последний путь огромная толпа народа, а прожившую на людях, всегда правдивую и принципиальную мать — всего несколько человек...

Столько вопросов, а ответа на них у меня пока нет. Но я ищу их и надеюсь найти.

* Ин. 14.6

** Лк. 21.8

Удивительно, но с тех пор как мы расстались с Ольгой, я ни разу не встретила ни её, ни Эла. Будто и не было этих людей в моей жизни. Иногда мне кажется, что они мне приснились. Действительно, во сне порой я вижу их и всегда просыпаюсь в холодном поту и радуюсь, что это был сон. И еще я вздрагиваю, когда вижу впереди невысокую женщину с аккуратно уложенными в прическу обесцвеченными волосами или слышу низкий с хрипотцой голос. А если в толпе меня останавливает неподвижный мужской взгляд, сердце мое замирает. Но это не Ольга и не Эл. Я не встречу их никогда. Господь водит нас по разным дорогам...

Светлана Алексеевна дописала очередную страницу и задумалась. Слезы давно высохли на ее щеках.

НАДЮХИНА ЖИЗНЬ

*Что ж ты, душенька-душа, мимо раю
прошла?*

Булгаковской Фриде в мире ином тридцать лет подавали платок с синей каемочкой, которым она когда-то удушила своего ребенка, и это было для неё непереносимой мукой. Надюхе Хрымовой никто галстуков не подавал, хотя именно на галстук она в ту пьяную ночь повесила в шифоньере трехмесячную дочку. Да если б и подавали, что с того – плевать она хотела на все галстуки, вместе взятые. Такая уж отчаянная была бабенка. Да. Хотя кто знает, как оно там, по ту сторону, – может статься, и ей засаленный шелковый галстук в серую с красным полоску стал бы вроде острого ножа в сердце. Только Надюха пока что жила и помирать не думала.

Она вообще ни о чем старалась не думать, давно уже. С тринадцати лет, наверно. Если точно, так, пожалуй, с того самого вечера, как отчим, расплескав, подвинул ей полный стакан водки и сказал: «Пей, девка, не бери в голову!». Она выпила глоток и задохнулась, а мать хохотала у плиты, и радио за стеной пело про несчастную любовь:

*Не для тебя я наряжалась,
когда был просто месяц май...*

А потом, когда наступила ночь, и луна выкатилась из-за тучи и повисла на ветке черного тополя прямо над окном, совсем уже пьяный, громко сопящий отчим завалился к Надюхе в кровать и прикрыл её тяжелой, как камень, ладонью рот. Мать спала за стенкой, и круглая белая луна до рассвета смотрела в мертвые окна «финки». Все знают, что на свете есть большие города и даже другие страны, да только кто их видел? В кино Надюха видела, конечно, так, то кино, а в жизни, может, и нету никаких других стран? Три, так называемых, «финских» дома, отделенных от строгой зоны высоким забором с колючкой наверху, есть, точно. За железнодорожной насыпью – болото, а вдоль него дорога к поселку. С другой стороны река бежит, возле неё – кладбище, где среди кустов бузины кое-как держатся за могиль-

ные холмики уродливые кресты из арматуры. И всё. Больше ничего нет. Люди, конечно, и тут жили. Но людям этим никакого дела не было до Надюхиного горя, так и горя-то не было – не девчонка же в белой рубашке, а собака выла в ту ночь под тополем на луну. Тихо скулила – никто даже и не услышал...

Через день Надюха сама взяла из рук отчима стакан, а мать все так же хохотала у плиты и тушила окурки в жестянке из-под «Стариды».

Человек появляется на свет, чтобы жить. И даже, если жизнь хреновая – все равно живет. Надеется, дуралей, что завтра лучше будет. Иной так всю жизнь и пронадеется, сам того не замечая. А то покажется ему, опять же сдуру, будто и правда лучше стало, он и давай от радости сопли по щекам размазывать, а это не так вовсе, просто время его рану малость подлечило, а когда настанет час, так его опять – за хохол да рылом в стол. Чтоб не забывался, значит. И кто же это за хохол-то его ухватит? Неизвестно. Вопрос не нашей компетенции. Но ухватят, это уж как пить дать! Так и с Надюхой вышло. Работа, вечерняя школа, танцы-шманцы в клубе – дело молодое, все проходили. И всё бы ладно, вот ей уже и парнишка один приглянулся из поселка, Пашкой звали, тряхнет чубчиком, и токает у девчонки в груди сердечко, вроде как птенец, когда его в ладони зажмешь. Но уж кого Господь отметит, тот, видно, всю жизнь меченым ходить будет.

Не дура была Надюха и ни за какие пряники не пошла бы она в тот весенний день с тремя парнями на речку, не будь с ними чубатого Пашки. А с ним – лишь бы поманил – хоть на край света, ничего не страшно! После того как выпили водки, и приятели прокричали под расстроенную гитару популярную песню про то, как люди встречаются, влюбляются и, в конце концов, женятся, и душа Надюхина поплыла в сладком тумане над высокой водой в неоглядные синие дали, Пашка первый и предложил ей раздеться, а когда она, принимая все за шутку, залиvisto хохоча, отказалась, первый и ударил её в живот. А двое других потащили за руки на кладбище в заросли бузины.

На свете немало хороших людей. Возможно, их даже очень много. Скорее всего, их даже значительно больше, чем плохих. Но вот ведь, какой коленкор – живут они где-то далеко – за тридевять земель в тридесятом царстве, на острове Блейфуску, или в городке с

таинственным, словно звук шаманского бубна, названием Лабытнанги.

Когда Надюха очнулась, было еще светло. Солнце скатывалось к реке, освещая тихим светом могилы, увенчанные арматурными изделиями запойного сварщика Гены. От боли мутилось в голове. Подняться на ноги она не смогла и тогда стала звать на помощь – сначала тихо, потом громче. Никто не отозвался. Когда ползла по деревне – никто не поднял, не подошел никто даже. «А-а, Надька Хрымова! Гляди-ка, пьяная, вся в мамашку, лахудра!» Так, избитая до полусмерти, изнасилованная тремя прыщавыми недоумками, она, глотая слезы и кровь, доползла до дома.

Ничего, заживет. Зима не лето, пройдет и это! В стакане с водой не одна душа захлебнулась. Да только прежде чем утонуть – поплаваем! И до Блейфуску доплывем, и до Лабытнанги на замшевых оленях домчимся. И плевать Надюха на всех хотела с высокой колокольни, на всех – правильных удачливых, хитрых, запуганных, крутых, пришибленных, психованных – да на всех!

*Не для тебя я наряжалась,
Когда был просто месяц май...*

Эх, что за песня – за душу берет, слезу вышибает! Просто месяц май...

Но вот ведь что удивительно – все, кто причинял Надюхе боль, рано или поздно были наказаны. Отчим – утонул. Пошел ночью с фонарем на реку острогой рыбу бить и не вернулся. Через неделю нашли утопленника километров за пять вниз по течению. Будто бы камень был на шее, и руки связаны, но это едва ли – кому надо? Упал, небось, пьяный, в воду, а вода в ноябре студеная – не поплаваешь, враз кондрашка хватит. И у лихого Пашки сбрили кудрявый чуб – ни к чему в тюрьме. Там, посаженный вместе с приятелями по печально известной в ту пору 117-й статье, он и повесился. А почему – один Бог знает, а мы можем только догадываться. Да что – не зря же говорится: чья душа в грехах, та и в ответе.

Вслед за отчимом отправилась в мир иной и мать. Одна стала Надюха жить-поживать и, как говорится, детей наживать. Чтобы не было больно, надо меньше думать. «Пей, девка, не бери в голову!».

Она и не брала. Все последующие тридцать пять лет, до того самого дня, как товарняк переехал её последнего сожителя молчуна Саню, и она, обезумев от ужаса, бежала по краю болота к лесу, а перед нами стояли отрезанные чуть выше колен Санины ноги, обутые в стоптанные кирзовые сапоги.

Эх, Саня, Саня! Бедолага приبلудный!.. Каким по счету сожителем был этот невзрачный мужичонка у Надюхи, она едва ли смогла бы ответить. Тут надо было вспоминать и считать, первое она не хотела делать, а второе не умела. Считать приятно только деньги на выпивку, когда они есть. Правда, Надюха знала, что у нее четверо детей – два мальчика и две девочки, но все они были не от Сани, хотя Саня жил при Надюхе давно. Если бы не было рядом этого молчаливого мужика с глазами побитой собаки, она давным-давно по пьянке завернула бы ласты. Кто как не Саня вытаскивал её полузамерзшую из сугроба и волок домой? Кто как не он ночь-полночь добывал в поселке выпивку, когда к ней «приходила белочка»? И он же ругал её наутро за то, что пьет, не зная меры? Сам-то, покойник, меру знал... А дети – что, они и есть – дети. Их никто не спрашивает, хотят они появляться на свет или не хотят. Развеселая маманя Надюхина, земля ей пухом, говаривала: бабенка не без ребенка. Оно так, конечно. Надюха рожала детей и передавала в детдом, таким образом, помогая обществу решать демографическую задачу, которой, справедливости ради надо отметить, в те годы государство еще не было озабочено. Первыми родились мальчики, один за другим, с минимальным промежутком. Мальчишек отправили куда-то далеко. Их отцы исчезли раньше и уехали, видимо, еще дальше, правда, не по своей воле и в специально для того устроенных вагонах, из которых небо видится в крупную клетку. Потом в Надюхиной жизни появился Михалыч. Его как безбилетника ссадили с проходящего поезда. Михалыч носил галстук, называл себя тренером по шахматам и был тихим алкоголиком и фаталистом. «Шахов много, а мат один», — любил говорить он и был абсолютно прав.

Закусывать философ-шахматист не любил. Выпьет бывало, оботрет ладонью рот и смотрит в окно на невидимые за густым подлеском проходящие товарные поезда, думает о чем-то. Надюху это раздражало.

— Вот скажи ты мне, умник, — однажды с вызовом сказала она Михалычу, — скажи, чего ты там выглядываешь, думаешь о чем?

Михалыч помолчал, потом посмотрел долгим взглядом на Надюху, протяжно вздохнул:

— Как тебе объяснить?.. Я задаю себе один вопрос, давно уже задаю, а ответа не знаю. Это меня мучает...

Надюхаприжмурила один глаз, чтобы Михалыч не раздваивался. Интересный получался эффект: если смотреть, скажем, правым глазом, видишь одного Михалыча, а если открыть еще и левый, появлялся второй Михалыч, как две капли воды похожий на первого. Оба с унылым видом пялились в черное стекло и отражались там в искаженном виде. Надюхе становилось от этого раздвоения очень весело. Как это мы втроем на кровати уберемся, подумала она и, представив себе такую любопытную картину, расхохоталась.

— Ты чего? — вздрогнул Михалыч.

— Ничего! — закатывалась Надюха. — Ничего... Ох, мамоньки!..

— Глюки, что ли?

— Сам ты глюк! Самый главный!

— Тьфу!

— Ну, глюк, расскажи, что это за вопрос тебя такой мучает?

Михалыч с подозрением посмотрел на Надюху, ответил не сразу.

— Вот жил я в разных городах, мотался по матушке России, с людьми разными встречался, и богатым был и нищим, как говорится, водку пивал и битым бывал... А зачем?

— Что — зачем? — спросила, опять прищурив глаз, Надюха.

— Всё — зачем! Зачем это все дается человеку? Живу-то я для чего?

Надюха потянулась за бутылкой, хмыкнула:

— Мозги у тебя, гляжу, набекрень! От шахматов, наверно. Зачем он живет?! Родился на свет, и живи. Думать тут нечего. Где выросла сосна, там она и красна!

Вдалеке прогромыхал очередной товарняк. Глаза Михалыча потухли, и весь он сник.

— Сосна какая-то... При чем тут сосна! — он отвернулся к окну. — Чушь собачья!.. Не понимаешь ты...

— Конечно, я не понимаю! Один ведь ты на свете умный, а остальные дураки, в шахматы не играют!

— Перестань! Я же тебе говорю...

— Ничего ты не говоришь! — отмахнулась Надюха, и глаза её на мгновенье подернула смертная тоска, но Михалыч ничего не заметил.

А потом задумчивый тренер исчез. Как-то вечером Надюха вернулась с работы – она тогда техничкой в клубе работала – а его нет. С вещами исчез, только галстук оставил, серый в красную полоску. Ладно, подумала Надюха, не велика потеря – клещ не вещь, где упал, там и пропал. Отправился, наверно, искать ответа на свой вопрос. Да разве его найдешь? И пытаться даже не стоит. Нету. Нетуни-какого ответа! И быть не может. Надюха это точно знала. От Михалыча у неё родилась Верочка, которую она потом на отцовском галстукке и повесила в платяном шкафу. Такой вот получился эндшпиль. Шахматист его, правда, не наблюдал.

Тут как раз закончилась Советская власть и началась в стране неразбериха. Это было время! Охнет и дед, коли денег нет. На рынках торговали китайскими товарами и российскими ваучерами, народ травился спиртом «Royal» и воровал цветные металлы, где только можно. А можно было почти что везде. Один Надюхин дружок – Серёгой звали – говорил за стаканом, что, дескать, деньги из воздуха умеет делать. И сделал – почти что в прямом смысле слова – из воздуха. Ума для этого много не понадобилось, да у Серёги его и не было, прямо скажем. Любой шестиклассник способен смастерить нехитрое устройство: штырь в землю, железку потяжелее, к нему привязанную, на провода электропередачи закинь – вот вам и короткое замыкание. Срезай алюминий и тащи в «цветмет». Что ж, когда Бог дает, так и дурак берет. В школе учили, что знание – сила, что ученье – свет, а неученье – тьма. Тут, правда, наоборот получилось, потому что, когда Серёга с приятелем три километра проводов со столбов срезали, село без электричества, без света, значит, долго тогда сидело. А потом сидел уже Серёга с приятелем. Ну, эти значительно дольше.

Вскоре после того как бесталанного электрика закрыли под надежный замок, возник на Надюхином горизонте Рауф. Возник, как месяц из тумана, и Надюха впервые, пожалуй, потеряла голову.

Восточный человек Рауф был из блатных, настоящий урка с синим орлом на груди и грудастой русалкой на локтевом сгибе правой руки. Но это Надюха разглядела позже, а в то зимнее утро она и не ждала нового знакомства, просто шла в магазин и на входе в поселок застыла, наблюдая странную картину. Злющий пес Рекс, потомок волков из соседнего леса, который обычно с остервенением кидался на чужаков, тут, поджав хвост, пятился за поленницу от незнакомого мужика, неподвижно стоявшего на дороге с засунутыми в карманы куртки руками.

— Ишь ты! — восхищенно сказала Надюха.

— Вот так, — ответил незнакомец. Голос у него был глухой, как будто звук шел не с губ, а откуда-то из-под куртки, из груди, что ли.

Надюха смерила его взглядом, но ничего примечательного не заметила. Мужик как мужик, куртка вот только легкая да сапоги хромовые не по сезону.

— Чего это тебя Рекс испугался? — спросила она мужика и кокетливо повела плечом.

— Ну, — усмехнулся тот, — или я его, или он меня!

— А ты кто?

— Я? Человек.

— Вижу, что не волк. Хотя... Я вот! — Надюха цыкнула на высунувшегося из-за поленницы пса. — Зовут-то тебя как?

— Рауф.

— Не русский, что ли?

Он усмехнулся криво:

— А ты, подруга, что, только русских любишь?

— Я всяких люблю, — хохотнула Надюха и замерла, как ошпаренная взглядом странных глаз, в которых, казалось, совсем не было глазного яблока — один зрачок на склере, черный, как пуговица. Ей до смерти захотелось спрятаться куда-нибудь — ну, хоть вот за эту поленницу. Будь у Надюхи хвост, она бы тотчас поджала его подобно посрамленному зверюге Рексу.

— Раз так, айда вместе, — удивительный незнакомец повернулся, поднял воротник куртки и, не оглядываясь, зашагал в поселок.

В другой раз удивилась Надюха, когда возле магазина последние поселковые могикане, не выкошенные циррозом и белой горяч-

кой, у которых и снегу зимой не выпросишь, не говоря уж о выпивке вдруг увидев странноглазого пришельца, словно вытянулись по стойке смирно и вежливо предложили «по соточке». А он даже не остановился. Да, такому нельзя было не подчиниться, что Надюха и сделала — сразу же и без ропота, чего никогда с ней раньше не случалось.

Тот вечер был первым, как они сошлись, и плач больной младшей дочери за стеной крепко донимал обоих.

— Уйми, в натуре, ребенка! — не выдержал, наконец, Рауф и ткнул смуглым пальцем в стену, за которой плакала девочка. Раскрасневшаяся Надюха пулей выскочила за дверь. Старшая дочь Танюшка, спрятавшись с головой под одеяло, притворялась спящей. Младшая температурила и потому не могла уснуть, громко плакала. Надюха сунула дочери соску.

— Ну-ну, чего ты, не реви!

Девочка, услышав голос матери, затихла, и Надюха, спотыкаясь в темноте, поспешила на кухню. Пока её не было, Рауф снял свитер, сидел, навалившись на стол; под линялой майкой синели татуировки. У Надюхи сердце провалилось куда-то в поясницу. Она смотрела из дверного проема на седой стриженный затылок и чувствовала себя маленькой канцелярской скрепкой, оказавшейся в поле притяжения могучего магнита.

Рауф с хрустом жевал соленый огурец.

— Что ж ты меня-то не обождал, джигит? — игриво спросила Надюха, указывая на пустой стакан. — Или одной прикажешь выпить?

— Ну не пей! — ответил тот, усмехаясь.

— Тоже мне, деловой! — Надюха залпом опрокинула стакан с водкой, тряхнула волосами и потянулась за огурцом.

*Не для тебя я наряжалась,
Когда был просто месяц май...*

— Добрые у тебя огурцы, — перебил песню Рауф, и черные немигающие глаза его сузились, — ядреные. Да и ты — баба ядреная, а? — он обнял хозяйку за шею, потянул к себе, но тут из комнаты опять донесся плач Верочки. Рука на плече дрогнула и ослабла.

И еще раз попыталась Надюха успокоить дочку. А потом, когда они выпили по второму стакану, и Рауф, посадив Надюху на колени, расстегнул на ней лифчик, и та совсем уж было сомлела в его железных объятиях, девочка опять заплакала. Надюха, не помня себя, сорвалась с места. Задыхаясь от нетерпения, она схватила ребенка, метнулась из угла в угол по комнате и по ходу стукнулась плечом об открытую дверцу платяного шкафа. Шаря в темноте и мысленно матерясь, Надюха хотела закрыть дверцу, и тут ей под руку попал забытый Михалычем галстук. Накинув его на шею плачущей дочери, она закрутила конец галстука за перекладину, после чего плотно прижала плечом дверцу шкафа. Стало тихо. В незанавешенное окно светила луна. На стене над Танюшкиной кроватью качалась тень черного тополя. Сдерживая дыхание, Надюха переступила лунный квадрат на полу и вышла из комнаты.

Рауф, потушив свет, ждал, и пьяная от водки и желания Надюха не слышала, как, осторожно ступая, бесплотной тенью проскользнула через кухню Танюшка. Не слышала, как захрустел снег под босыми ногами задохнувшейся от слез старшей дочери, когда побежала она по узкой тропинке, протоптанной в метровых сугробах в сторону поселка, прижимая к груди безвольное, завернутое в покрывало тельце сестры. И не было кругом ни души, только холодные звезды безучастно смотрели на детей с высокого черного неба, и белая луна как когда-то в памятную ночь заглядывала сквозь голые ветки черного тополя в мертвые окна «финки». Но Надюха её не видела.

Потом было лишение родительских прав, которое Надюха приняла без эмоций, в надежде, что теперь ничто не помешает ей налаживать жизнь с Рауфом. Девочек увезли в детский дом, но и восточный человек в майке и офицерских прохарях недолго задержался в доме под черным тополем.

Он ушел под утро той же зимой. В комнате было темно и холодно. Надюха слышала, как он уходит, но виду не подала, боялась. Лежала, закусив край одеяла. Когда дверь за ним закрылась, Надюхе стало тошно, она прошла на цыпочках, ежась от холода, на кухню, выпила полстакана самогонки из спрятанной за холодильником бутылки, увидела на столе оставленные сожителем деньги – их было много.

Про Рауфа она больше ничего не слышала, как и не было его вовсе. Таким, как он, жить тесно, душа на простор просится, и потому они на месте не сидят. Перекати-поле. Эй, восточный человек, жиган бывалый, ау – подай голосок через темный лесок! Нет ответа. А деньги кончились быстро.

Ну, было и прошло, чего там. Вспоминая своих сожителей, пьяная Надюха богохульствовала. Загибала грязные пальцы, говорила, хохоча:

— Иван родил Валерку, так. Андрей родил Сашку. Этот... как его... Митька родил Танюшку... Нет, не Митька, а Витька! Или нет?... Тьфу, нечистая сила!.. А Михалыч — Верку...

Досчитав до четырех, она ударяла кулаком о стол так, что гремели стаканы и бутылки, орала зло:

— Козлы! Не они рожали! Это я всех родила! Я! Пятерых! Откуда взялся пятый, никто не мог бы сказать, но счет Надюха почему-то всегда вела до пяти.

— Я родила! Всех до единого! Ни одного аборта, понятно?!

Врала Надюха. Первая беременность, тогда, после кладбища, когда она еще совсем девчонкой была, закончилась абортom, но Надюха об этом не вспоминала – как зарубила, будто и не с ней это случилось.

— Ни одного! Всех выносила!

И резко в пьяные слезы:

— Детки мои! Сиротинушки! Всех отобрали, волки позорные! Власть – тоже мне, демократы хреновы! Нет на вас Божьего наказания!

С Богом у Надюхи были особые отношения. Она с детства знала, что Бог есть, как знала, что есть Америка или Индия. Или, опять же, Лабитнанги, о котором рассказывал повидавший немало на своем веку Рауф. Но их существование никак не отражалось на Надюхиной жизни. Так же и Бог: он был где-то там очень далеко и никак себя не проявлял – не помогал, но и не мешал жить, как хотелось. Это Надюху вполне устраивало, хотя в глубине души она боялась Бога и знала животным каким-то знанием, что отвечать за беспутную жизнь рано или поздно придется. Такие мысли приходилось гнать, потому что от них на душе становилось мутрно. Надо было выпить, как она выра-

жалась, «плеснуть на каменку», да спеть с отчаяньем любимую:

*Не для тебя я наряжа-алась,
Когда был просто месяц май...*

Однако всех своих детей Надюха крестила в местной церкви. «Что я, нехристь какая, что ли?» — говорила она и звала в крестные кого-нибудь из знакомых. Те, не раздумывая, соглашались. Правда, сама Надюха лично на крестины ходила один раз, и то разревелась в храме неожиданно и непонятно почему.

— Что ты, Надежда? — участливо спросил настоятель недавно открытой церкви, не старый еще, с Денькой клинообразной бородой, отец Владимир.

— Не знаю, — смущённо ответила она, размазывая по обветренным щекам слезы.

— Успокойся. Радость ведь какая— дочь твоя в Книге Жизни теперь записана.

— Да-да, — говорила Надюха, а сама все ревела. — В книге... Конечно... Бабка мне моя вспомнилась, Полей звали...

— Так что? — вздохнул отец Владимир и подергал бороду. — Помолись за неё.

Надюха всхлипнула. Получилось очень громко в пустом храме.

— Бабушка Поля, она одна любила меня... По голове всё гладила, ласково... Учила: живи, Наденька, честно, тогда в рай попадешь... Там Господь и ангелы святые... В рай!.. Припевала, помню, тоненько так: дайте местичка в раю, хоть на самом на краю... так и говорила: «местичка»!

— Вот и не реви, глупая, в раю она, бабка твоя! — сказал священник.

— Конечно! — Надюха ухватила его за рукав рясы. — В раю, конечно! — И вдруг неожиданно для себя заревела в голос. — Не увижу её никогда!

Отец Владимир принес из алтаря святую воду и стал кропить ей Надюху:

— Ну, ну... Это не ты плачешь, это водка плачет!

— Как это? — спросила Надюха.

— А так. Водка в тебе плачет. А твои слезы еще не накопились. Впереди они, твои слезы.

Надюха так же неожиданно успокоилась, улыбнулась лукаво и вдруг заявила отцу Владимиру:

— А может и увижу я её, бабу-то Полю, а, батюшка? Ведь и я, как умру, в раю буду!

Тот оторопело посмотрел на неё, отмахнулся:

— Да полно тебе, Надежда! Один Господь знает, кто и где будет... — и повторил чуть не дословно слова апостола. — Ты бы вот не пьянствовала, а? Разве не знаешь, что пьяницы и прелюбодеи Царства Небесного не увидят?

— Ошибаисси, батюшка! — хохотнула Надюха. — Мама моя, земля ей пухом, мне по-другому говорила.

— Чего она тебе говорила?

— А вот, — приосанилась пьяненькая Надюха. — Слушай историю да на ус мотай. Помер один запойный и думает, куда податься? В ад неохота – страшно в аду-то. Пошел к райским воротам и стучит. Апостол Петр его, значит, спрашивает: «Кто там?» — «Я!» — отвечает пьяница. Поглядел апостол в окошечко. «Нет, — говорит, — тут таким не место». — «Погодь-ка, — тормозит апостола алкаш, — а ты кто будешь?» — «Я – апостол Петр!» — «А-а, не ты ли это от Христа три раза отрекся?». Стыдно стало апостолу, и он ушел.

— Ну? — заинтересованно усмехнулся отец Владимир и опять подергал бороду, словно боялся, что она у него вдруг отклеится. — И что дальше?

Надюха продолжала:

— А двери-то все равно на замке. Опять ломится пьяница. Открывает ему друг Петров, апостол Павел. Та же история – нету, говорит, для таких как ты в раю места. Ну, пьяница и этого спросил, как звать-величать. «Павел я», — отвечает апостол. «Как же, — кричит пьяница, — не ты ли в Дьякона Степана камни швырял и до смерти забил?». Ушел и этот апостол, посрамившись. Только ворота остались заперты. Что делать? Надо стучать. Выходит царь Давыд, с бородой и в царской короне, великий такой, не подступись. «Тебе чего, — спрашивает, — пьянь подзаборная, здесь надо?» — В рай хочу, — вежливо заявляет пьяница, — яблочки, ваше царское величество, с вами кушать!». — «Да ты с ума сбрендил, что ли, — разгневался Давыд, —

с суконным рылом да в калашный ряд!». — «Ладно, — говорит наш-то, — ладно, давайте познакомимся». Ну и познакомились, а как познакомились, посрамил он и царя: «Ты, — говорит, — мужа от жены на фронт послал, на верную смерть, а сам с ней на постельку!». Не стал Давыд спорить, а то как же — совестно ему стало.

— Даешь, Надежда! — покачал головой батюшка. — Как ты, однако, Писание-то!

— Маманя рассказывала, я чего!

— Так что, не попал в рай пьяница-то твой?

— Как не попасть — попал! — хмыкнула Надюха.

— Каким лее образом?

— А таким. Уж больно охота ему было рай поглядеть. Чай, не грех, всякому охота, а?

Священник уклончиво сказал:

— Ну...

— Да. Стоит пьяница у дверей, ждет своего часа. А сверху выглядывает другой апостол, Иван. Все такой же у них разговор получается — нельзя, говорит Иван, пьяницам в рай входить. «Известное дело, — отвечает пьяница, — да только ты-то кто, мил человек, будешь?». Иван назвался, а тот ему: «Так это ты сказал, чтобы люди любили друг друга и все им за это простится?» — «Я», — признался апостол. «Так как же ты меня не простишь по любви-то?» — спрашивает пьяница. Ну что оставалось апостолу делать — открыл он пьянице ворота в рай, а тот и рад-радехонек, пошел яблоки наливные собирать.

— Такой интерпретации я еще не слышал! — искренне засмеялся отец Владимир и как-то сразу помолодел лицом.

— Не знаю как насчет интерпретации, — сказала Надюха, — а только получается, что в рай пьяницам дорога не заказана.

— Я бы поспорил, — не согласился священник, но она и слушать не стала, махнула рукой.

— Тут и спорить нечего! При церкви она и Саню нашла. Отец Владимир пригрел на зиму бродягу. Тот за еду да ночлег трудился по мере сил — дорожки от снега расчищал, дрова колот, ночевал в сторожке, вроде как охранял прилегающую к храму территорию. На предмет выпивки Саня с Надюхой сошлись быстро, и несостоявшийся охранник тут же слинял в направлении хрымовского дома, где было и

теплее, и вольготнее. А настоятель потом выговаривал Надюхе за искушение слабовольного раба Божьего Александра.

— Да полно, батюшка, — дерзила отчаянная баба. — Если он и раб, так уж никак не Божий, а известно чей!

— И чей же?

— Змия зеленого! — хохотала та.

— Эх, Надежда, беда с тобой! — с горечью говорил отец Владимир и, качая головой, осенял Надюху крестным знаменем. А Саня прижился под черным тополем на многие годы. До самого нелепого своего смертного часа.

Домой Надюха вернулась на четвертый день. Измотанная, почерневшая, но трезвая. Где была, чем питалась, что делала — неизвестно. За это время Саню, конечно, похоронили. Похоронами занимались приехавшие из детского дома повзрослевшие дочери. При встрече Надюха расплакалась и все прижимала к груди младшую — Верочку.

— Счастливая будешь! — говорила ей сквозь слезы.

— Почему? — смущенно улыбалась непривыкшая к ласке девчонка.

— Примета есть. На отца ты похожа.

— А я? — спросила Татьяна.

— Ты? Ты моя кровиночка! — и опять редела.

Про покойника долго не говорили. Наконец, Надюха глядя в окно, спросила:

— Схоронили, значит?

— Да. Хочешь, сходим на кладбище.

— Ага. Сходим, — засуетилась Надюха. — Прямо сейчас давайте и сходим.

Верочка освободилась от материнских объятий.

— Ты бы, мам, поела чего-нибудь, — сказала она.

— Нет-нет, потом, — отказалась Надюха. — Потом. Я это... не хочу. Давайте после.

И они пошли.

Усталое августовское солнце золотило листья на кустах бузины. Тени от деревьев и крестов, удлинняясь, протягивались через вы-

топанную среди могил дорожку. Надюха с дочерьми остановились у свежего холмика возле покосившегося кладбищенского забора с провалившейся между столбами сеткой-рабицей. Над могилой возвышалось деревянное сооружение, которое не всякий язык повернулся бы назвать христианским крестом. Наклонная перекладина свежевыступанного монстра была гораздо длиннее горизонтальной и нижним концом своим упиралась в землю. Сотворить такое могли только руки человеческие, и это были руки мастера-краснодеревщика Коляна, заменившего в крестовом промысле приснопоминаемого Гену, который не выдержал тягот новой капиталистической жизни и в ночь на Троицкую субботу в отчаянии повесился, в виде протеста, наверно, привязав другой конец веревки к вентилю на газовом баллоне. Злые языки трепали, что, дескать, по пьянке. Пожалуй. Но не исключалась и другая причина – исчезновение с лица земли по всей округе арматуры для изготовления погребальных атрибутов, кормивших, а главным образом, поивших сварщика всю сознательную жизнь. Оградки на могиле не было, а на Коляново изделие какой-то шалопай из местных надел потрепанную Санину кепку, что сделало его еще более похожим на огородное пугало.

— Вот тут его похоронили, — тихо сказала Вера и посмотрела на мать.

Надюха молча кивнула и, сделав шаг к могиле, вдруг остановилась, как вкопанная. Татьяна схватила её за рукав. Все трое заворожено уставились в одну точку: у подножия креста, где лежал серый камень-булыжник, грелись на солнце две змеи.

— Гадюки! — прошептала Татьяна.

Вера произвольно прижалась к матери.

— Надо прогнать, — пересохшими губами произнесла Надюха, но сама не сдвинулась с места.

Стало слышно, как где-то вдалеке стучит по сосне дятел. Татьяна нашла длинную палку и, подойдя ближе, коснулась её концом тела одной из змей. Та лениво подняла голову и тонко зашипела.

— Не бойся, — сказала Вера. — Она не прыгнет.

Татьяна не ответила и опять ткнула палкой в змею.

— С-с-с! — раздвоенный язык гадюки, казалось, того гляди вылетит изо рта. Надюха вдруг почувствовала, как у неё колотится сердце.

— Их две...— прерывающимся шепотом произнесла она. Неожиданно обе змеи неторопливо поползли за крест и скрылись в густой траве заброшенной могилы.

— Их... две...— повторила Надюха.

— Всё, мама, уползли, — улыбнулась Вера, заглядывая матери в глаза. Надюха заплакала. Дочери тянули её за руки.

— Ну, чего ты! Не реви!

— Простите меня, дочки! — захлебывалась Надюха, сама не понимая, откуда берутся слезы и что она хочет сказать. — Простите меня, ради Христа!.. Скоро и я, значит...

Тут неожиданно из-за куста бузины вышли отец Владимир и старуха Елагина, которая неделю назад схоронила сына. Священник был в епитрахили и поручах с дымящимся кадилом в руке.

— Вот литию служил, — растерянно сказал он вместо приветствия.

— Батюшка! — кинулась к нему Надюха. — Батюшка, как же это, а?

— Ну, что ты, Надежда, — отец Владимир гладил по спине уткнувшуюся ему в рясу Надюху. — Все мы смертны...

— Да, да... Вот и я скоро...

— Полно, полно тебе. Не говори глупости. Поплакать, оно, конечно, надо. Тем паче, что теперь не водка, теперь душа твоя плачет! Надюха подняла на него глаза.

— Да, батюшка. Душа. Больно-то как!.. Больно... Дайте мстичка в раю, хоть на самом на краю... Бабка моя Поля... А вон ведь что... Две змеи ... И поползли обе-две, да... Одна за другой. Вот и я за Саней, выходит...

Она без оглядки побежала по дорожке между могилами, а священник крупно крестил ей вслед и что-то шептал, едва шевеля губами.

Умерла Надюха через месяц от алкогольного отравления.

— Ну как можно столько этого пить! — с неподдельным возмущением сказал, констатируя смерть, местный фельдшер Семен Иванович Пухов и, дыша перегаром, показал собравшимся в комнате соседям целую батарею пузырьков из-под настойки боярышника. — Ни в коем разе нельзя. Меру люди позабыли, вот что я вам скажу. —

Фельдшер задумался. — Corda... э-э-э... corda... Н-да... Кто знает меру, тот... — и тут Семен Иванович, сам того осознавая, чуть-чуть не повторил слова неизвестного ему философа Лао-цзы, но по причине утреннего недомогания к несчастью сбился с мысли, и присутствующие так никогда и не узнали, что за награда, по мнению китайского и ветлужского мыслителей, ждет того, кто знает меру. Семен же Иванович, глядя поверх голов на невесть откуда взявшуюся в Надюхином доме икону мученика Вонифатия, завершил тираду пессимистически и в славянском стиле: — Когда сие потребляется в зело больших дозах, — сказал он многозначительно. — В большии-их дозах — слышите? — кровь, научно выражаясь, уходит на периферию, питания сердцу нет, и оно останавливается, а человек, значит, от этого помирает. Так-то, да.

Все, поджав губы, согласно кивали. И понятно, против науки какие могут быть возражения?

ЕГОРЫЧ

Стоял конец мая. Солнце припекало по-летнему. На смородиновых кустах как-то скоро, за одну ночь, на Пахомия-бокогрея, поглубели кисточки. Отнерестилась сорожка, ждали густеру.

Ждал и старик Багров. Зимой его крепко прихватила болезнь, он думал, что уже не поднимется, но ближе к весне хворь отпустила Егорыча, он стал выходить на берег, сидел на бревнах, глядя вдаль — туда, где ровное ледяное поле водохранилища сливалось с небом. Потом пришла пора смолить лодки. Костры на берегу. Смолой остро пахнет. Мужики конопатят свои плоскодонки, густо намазывают днища кипящим варом. Выходят на берег даже те, кто приобрел дюралевые катера и кому, казалось бы, делать тут нечего.

Егорыч любил это время. Не торопясь, просмолил свою лодку, спустил ее на воду. Вскоре и сорожка пошла. Но он опять приболел. И поэтому пропустил нерест. Теперь ждал густеру. И дождался.

— Поеду я, Катерина, — сказал утром жене. Та только кивнула. Правда, потом вышла за калитку и глядела вслед Егорычу, пока его сутулая спина не скрылась за поворотом к обрыву.

У ветлы, чуть повыше тропинки, сидел на земле Федор Чугунов, старый приятель Егорыча. При виде товарища лицо Чугунова, сморщенное, обгоревшее на солнце, растянулось в широкой улыбке и стало похоже на сушеную грушу. Федор приподнялся с травы, отряхнул висевшие мешком на его тощем теле брюки и заговорил скороговоркой:

—А-а, старая беда! Выбрался? Молодец, такоедело. Однако сорожку-то проспал!..

Спускаясь по тропинке следом за Егорычем, он сыпал словами, словно боялся, что не успеет сказать всего, что накопилось.

—Эх, сорожка-то как шла, Егорыч!Отродясьтакого не выдывал, истинный Бог. Жалко, ты хворал...

Сдвинув елани на один борт, Егорыч принялся отливать из лодки накопившуюся воду.

—Было дело!.. — продолжал Чугунов. — Ты послушай только. Яна старом острове ночью зыбил. Десятков восемь, а то и больше нацедил. —Пряча в темных ладонях пламя спички, он закурил: — А крупны ж были черти! Самца, растудыего в коромысло, тянешь из

ячей, а он, гад, шершавый, ровно терка. Чуть придавишь — из него так ильет!..

Загремела цепь. Где-то на горе в кустах краснотала залаяла собака, и слов Чугунова на какое-то мгновенье не стало слышно.

— ... вот я и говорю, что зря. Сорोजняк отошел, а густера, смекай, того, рано еще ей. — Федор вдругнагнулся ближе к Егорычу, заговорил шепотом, нотак же быстро: — А слышал я, шалят будто опять ссетками-то... Во! На Хорева грешат. На Витьку. Слышь, выкормыш-то твой? Говорят, сетки чужиене только шупает, а и того —фю-ють— и поминай, как звали. И рыбка, и сетки. Так-то...

— Ладно, Федор, бывай, — сказал Егорыч и оттолкнулся веслом от берега.

— Ну, погляди, погляди, — заторопился Чугунов и неожиданно добавил. — Я бы и сам это... Даплемянник, растуды его в коромысло, лодку взял. С вечера еще уехал. Жду вот, такое дело.

Ветра не было. Огромным выпуклым зеркалом сверкала в лучах солнца гладь водохранилища. Старик греб жадно, словно соскучился по веслам. Фигурка Чугунова на берегу становилась все меньше и, наконец, совсем исчезла.

Как только глаза перестали различать разбросанные по крутому склону дома, он поднял над головой весла и, выпрямив спину, вздохнул полной грудью. Пахло рекой.

Вся жизнь Егорыча прошла в этих местах. Дальше райцентра он нигде не бывал. Даже во сне ему всегда виделось одно и то же: бледные речные дали, барашки волн, стаи чаек, развешанные на кольях для просушки сети, белые гривенники чешуи, прилепившиеся к черным бортам лодки. Еще приходили к нему в сон запахи — то смолы, то рыбы, то застоявшейся воды. Все это сливалось для старика в одно понятие — Река.

А реки давно уже не было. Захлестнули грязно-зеленые волны водохранилища и русло ее, и заливные луга, и древнее село на берегу — Светлые Ключи, куда в незапамятные времена пришел из-за Волги охотник и рыбак Панкрат Багров — дед Егорыча.

Поставил дом, женился. Промышлял охотой да рыбалкой, и сына Егора к тому же приохотил. И все было бы ладно, да словно рок навис над мужской половиной дома Багровых. Как-то в июле возвращался Панкрат с охоты, и ударила в него молния — так и помер. В том

же примерно возрасте — семидесяти годов от роду — покинул земную юдоль и его сын, тоже смертью загадочной и страшной. Уехал на рыбалку за Волгу — и как в воду канул. Нашли его неделю спустя мужики в лесу, лежащим под стволом могучей сосны. Крепкий сук, разворотив грудь, прочно приколот Егора к родной землице.

Младший Багров, кормившийся, как и предки, охотой и рыбалкой, жил в Светлых Ключах, которые стояли теперь на возвышенности. Вот уже полвека жил он в дедовском доме с Катериной. Детей им Бог не дал. Взяли на воспитание сироту Наталью. Вырастили — она и упорхнула в город, к старикам навевывалась раз в два-три года — одна, без мужа. Поживет недельку-другую, да опять исчезнет. Егорыч уж и лицо-то ее забывать стал — так, что-то расплывчатое, в ушах золотые мормышки...

...С юго-запада потянул ветерок. Вода подернулась рябью. Поглядывая на небо, Егорыч скинул пиджак, намочил водой кепку и, слегка отжав ее, снова надел на голову.

«Однако ветер-то из «гнилого угла», — подумал он. — Дождика, поди, не миновать».

Он уже почти пересек наискось водохранилище и приблизился к группе небольших песчаных островков (или, как их называли, грив), которые тянулись вереницей вдоль берега, разделяя водохранилище на две неравные части.

Ветер тем временем все крепчал. Небо затягивалось хмарью, а с юго-запада, из угла, который все рыбаки называли «гнилым», выползла тяжелая грязно-серая туча. «Этак без рыбы останусь», — думал Егорыч, притабанивая левым веслом, чтобы повернуть лодку к островкам, поросшим чахлым кустарником и густой травой. То тут, то там из воды торчали торфяные кочки, словно кашта-новолосые головы. Повернуть бы назад, но будто какая-то сила (а может, это было просто упрямство и гордость: как же, Егорыч, да без улова!) толкала старика, и он продолжал грести. Ловко провел лодку между двух островков и оказался в рукаве, отсеченном от большой воды гривами. Когда-то, до затопления, тянулось здесь знаменитое болото — Маура. А дальше в глуби леса стояла деревенька, откуда была родом Катерина. Перед войной сосватал ее Егорыч и перевез в своей лодке через реку на свой берег — в Светлые Ключи.

Обогнув песчаную отмель, старик повел лодку в Глубокий залив, куда, он знал, часто заходила густера на нерест. В любую непогодь здесь было тихо и спокойно.

Посреди залива покачивался катер под «Вихрем». В нем сидели трое мужиков: двое выбирали сеть, третий – лысый толстяк в сетчатой майке – держал весла. В одном из тех, что тянули сеть, Егорыч узнал Виктора Хорева и сразу вспомнил слова Чугунова.

Сидящие в катере заметили Егорыча. Хорев выпрямился во весь рост. Худое загорелое лицо его выражало растерянность. Грести старик перестал, и его лодка, двигаясь по инерции навстречу катеру, ткнулась носом в металлический бок. Толстяк придержал ее за борт.

— Здоров живешь, Егорыч, — сказал Хорев. Накрутой скуле его блестела прилипшая рыба чешуйка.

— Мое вам с кисточкой, — в тон ему ответил старик, оглядывая из-под насупленных бровей сидящих в катере. Двое были ему незнакомы. Толстяк в майке смерил Егорыча маленькими глазками-буравчиками, которые прятались в отвислых щеках. Третий, «спортсмен», как сразу назвал его про себя старик, потому что одет он был в синий спортивный полинялый костюм, — отвернулся, и лица его Егорыч не увидел.

— С уловом, что ли? — усмехнулся Хорев.

— Какой там! На большой воде – беляки, бестолково. Хотел вот в Глубоком пошарить... Вот увас, видать, улов!

На дне катера стояли три корзины, доверху наполненные рыбой. В носу валялись спутанные мокрые сети. К ним-то и приглядывался старик.

Хорев заблестел зубами:

— На уху, может, и хватит.

— А то!.. Сетью-то, Витек, сподручней.

Хорев не ответил, посмотрел только на сидящего на корме «спортсмена».

Лодки мирно покачивались, прижавшись друг к другу бортами, — неуклюжая деревянная и новенькая металлическая.

Хитрить старик не умел и поэтому спросил напрямик:

— А что, Виктор, сетка-то у вас своя? Аль чужую щупаете?

Толстяк так и привскочил.

— Ты что, старый хрен! — голос у него оказался тонким, ка-

ким-то бабьим. — Очумел, что ли?

— Не суйся, куда не просят! — глухо сказал Хорев. На худом лице его вспухли желваки. Было непонятно, к кому обращены сказанные слова — то лик Егорычу, задавшему вопрос, то ли к толстяку, вмешавшемуся в разговор. Так или иначе, а толстяк замолчал. Хорев угрюмо посмотрел на Егорыча.

— Правду, слышь, парень говорит. Давай-ка, вали своей дорогой.

«Парень» согласно хмыкнул.

— Ты мне дороги на реке не заказывал! — с обидой в голосе произнес Егорыч. — Ты щенком еще был, а я рыбу здесь ловил уже. И я тебе вот что скажу: меня отец-покойник учил: того, кто из чужихкапканов дичь выбирает, по голове, как хорька, бить надо...

— Те-те-те-те! — опять вмешался толстяк. — Давно, дедушка, тут плаваешь? Ну, молодец. Плавай и дальше спокойно. Немного ведь осталось... плавать-то, так что понимай!

— А я, Витя, — не слушая, продолжал Егорыч, обращаясь по-прежнему к одному Хореву. — Я, Витя, не верил, что про тебя болтают... Я ведь из тебя рыбака сделал... А ты меня пугать?

— Ладно, ладно, Егорыч, не шуми. Чай, сам сетками-то, было время, баловался, — примирительно сказал Хорев.

— Было. Было, Витя, такое время. Баловался. Только наказ родителей не забывал, чужого не трогал.

— Кончай бакланить! — раздался с кормы резкий окрик до сих пор молчавшего «спортсмена».

Старик повернулся на голос, но спортсмен, прикуривая, закрыл лицо ладонями, и Егорыч заметил лишь пустой взгляд по-рыбьи холодных глаз да большое, во всю щеку, багровое родимое пятно. Неприятное, гадливое даже чувство возникло у Егорыча от этого взгляда. Какую-то тоску он ощутил — и словно под ложечкой засосало. Но лишь на мгновенье. Он посмотрел на волосатую грудь лысого толстяка. Бульдожьки щеки того отвисли, в глубине глаз затаились недобрые огоньки.

Старик сплюнул за борт. Хорев сделал то же самое.

— Вот что, Егорыч, — сказал он, — ты вали-ка отсюда подобру-поздорову. Да прошу тебя, — голос его угрожающе дрогнул, — прошу тебя, — повторил он, — язык-то за зубами держи...

—Ты меня не учи, не учи, Витя. Сам знаю, когда собаку с цепи спускать. Так что и ты понимай.

С громким криком над лодками пролетела чайка. Егорыч привстал, чтобы оттолкнуться от катера, и в тот же миг страшный удар по голове повалил его на дно лодки. Ему показалось, что старый мерин Васька, на котором они в войну возили из артели в город рыбу, наступил ему на затылок своим тяжелым мохнатым копытом.

Сколько прошло времени, старик не знал. Очнувшись, он сразу вспомнил все, что случилось, и потому оставался лежать неподвижно на дне лодки лицом вниз, прислушивался. В щеку и висок плескала теплая вода из-под елани. Совсем близко говорил «спортсмен»:

—Ты, Хорь, отведешь лодку за гривы. Понял?Старика – в воду. Тихо, говорю я! А лодку его перевернешь. Волна-то вон как разыгралась. Сечешь?..

Егорыч облизал пересохшие губы, попытался сосредоточиться, но удавалось это с трудом, мысли все уплывали куда-то, становясь тягучими и зыбкими.

— А, Рябой, — продолжал «спортсмен». — Ну, ты, не куксись, дура! Что сделано, то сделано, назад не воротишь. Сейчас высажу на берег – дуй на место, сворачивай палатку. Будем уходить.

— Да ведь это Егорыч! — каким-то не своим, придушенным голосом произнес вдруг Хорев.

— А по мне бы хоть и Сидорыч. Пускай рыбам про нас рассказывает. По мелочи гореть не в моих правилах.

«Ишь ты, горячий какой! — думал Егорыч. — Поглядим еще!— Он попробовал незаметно высвободить затекшую руку. Боль пронзила все тело. Перед глазами поплыли зеленые и оранжевые пятна. — Крепко он меня веслом-то огрел, однако,— старик не сомневался, что ударил «спортсмен». — Ничего, оклемаюсь... А Витька-то, гаденыш!..» Старику стало обидно и горько от мысли о Хореве, но и эта мысль уплыла куда-то в розовое море. Вспомнилось неожиданно, как однажды он втащил на обрыв бревно, которое четверо мужиков поднять не могли. Как это тогда Чугунов сказал? А-а... Как-то он здорово сказал... Было дело. Да. Но тогда он был молод, и внизу возле лодки стояла Катерина. Молодая. Стояла и смотрела на него. Катерина... И старик увидел вдруг склонившееся над ним лицо жены.

— Егорыч! Егорыч! — словно откуда-то издалека донесся до него голос Хорева. — Чё ты, Егорыч, а? Ну, чё ты?

Старик открыл глаза. Красный туман качался, наплывая. Сквозь этот туман проступило лицо Хорева. Белая чешуйка по-прежнему блестела на кирпичной скуле.

— Ты держись, Егорыч. Держись, ладно! Я сейчас вот поудобней тебя устрою. Я мигом. Ты, Егорыч, не думай. Не думай, слышишь...

Но старик уже не слышал. Волны густого красного тумана заливали его. На мгновенье он увидел крутой берег, белый камень, вросший в песок, себя в лодке. Будто сидит он, подняв весла, и стекают с них золотистые струйки воды. А вдоль песчаной косы, под обрывом, бежит Катерина, за ней следом, припадая на одну ногу, торопится Чугунов.

«Что это они? — подумал Егорыч. — Куда бегут?» — И тут услышал голос Катерины, зовущей его:

— Ива-а-ан!

Ее лицо оказалось совсем близко, и старик увидел на щеках жены слезы. «Ты что плачешь?» — хотел спросить он, но губы, спекшиеся от жары, разлепить не смог.

Внезапно лицо Катерины отодвинулось в сторону, раздвоилось, закачалось, поплыло и, кружась, понеслось куда-то вверх. И оттуда, сверху, где ярко горел зеленовато-оранжевый круг, раздался ее молодой звонкий голос:

— Ива-а-ан!

«Катя!» — хотел изо всей силы крикнуть Егорыч, но вместо крика с губ его сорвался едва слышный шепот.

А голос Катерины все звенел и звенел, взмывая все выше и выше, в бездонную синь неба, и, наконец, совсем растаял.

— Ка-тя, — прошептал по слогам Егорыч. Он еще почувствовал, как остро пахнет дно лодки рекой ирыбой, а потом леса, соединявшая его сознание с миром, лопнула.

ЗАОЧНИК

Может, кому-то и покажется эта история банальной, не знаю. Мне, если честно, до звезды, что там вам покажется, потому что я все равно при своем мнении останусь. Такой уж я человек.

Вот вы, где с девушками знакомитесь? Не говорите, сам знаю. У меня опыта хватает. Смех и слезы!.. Да. Я как-нибудь об этом расскажу. Но не теперь. Настроение не то. Да и случай совсем другой. Вот послушайте.

Лежу я как-то на своём диване и курю. Как сейчас помню, курю «Marlboro». Это я запомнил, потому что сейчас «Marlboro» дрянь дрянью, а тогда сигареты были настоящие, без всяких там лицензий.

Ну вот, курю я на своём диване, «Abbeyroad»* слушаю, балдею. И тут дверь открывается, и заходит Вовка Васин, дружок мой.

— Здорово, — говорит.

— Привет.

Вовка на диван рядом со мной садится. Вижу, кислый он какой-то.

— Выручай, старик! — говорит Вовка, а сам морщится, как будто зуб у него болит, и даже пальцами подбородок обхватил.

Я сигарету затушил и спрашиваю, что, дескать, случилось. Вовка еще сильнее сморщился. Не люблю я, когда вот так морщатся, говорил бы сразу.

— Ну, давай-давай, — говорю, — выкладывай.

Он и выложил. Сессия у него началась. А он, Вовка-то, — заочник. В политехе учится. Что-то там сэлектрикой-электроникой, для меня темный лес. А на первом курсе у них иностранный. Вовка и в русском-то языке ни бельмеса, а уж в иностранном — тем более. Это я и сам знаю, мог бы не говорить. Короче, он ни в зуб ногой, а зачёт сдавать надо.

— Выручай, — говорит, — меня уж на зимнейсессии завалили. Теперь на тебя вся надежда!

Не нравится мне, когда говорят: «На тебя вся надежда». Ну, ладно.

— Как, — спрашиваю, — выручать-то?

* Название одного из альбомов ансамбля «Битлз»

— Сдай за меня зачет!

Я сейчас объясню, почему он ко мне по такому делу пришел. Потому что я в лингвистическом учился. Это с полгода назад было. С языками у меня всё тип-топ, я их даже люблю, языки, особенно – немецкий. Ну, из университета меня попёрли вовсе не за неуспеваемость, как некоторые думают, и даже не за прогулы, а совсем по иной причине. Но это другая история. Я как-нибудь вам её расскажу под настроение.

Выключил я музыку и стал смотреть на Вовку Васина. А он на меня смотрит. Долго мы так смотрели, а потом он говорит:

— Ну, чего ты?

Не люблю я таких вопросов. Чего ты? Да ничего я.

— Мы, — отвечаю, — с тобой, кажется, не близнецы.

Это точно. Мы с Вовкой друг на друга не очень похожи, даже, если честно, совсем не похожи: Вовка под два метра, черный, а я габаритами не отличаюсь и волосы у меня ни то ни сё, белобрысый, вообще.

— А-а! — обрадовался Вовка. — Ты вон о чём. Так меня из преподавателей мало кто помнит, анемка наша и подавно. Сам понимаешь, у нас ведьсессии два раза в году.

Понимаю. Действительно, кто заочников помнит, да ещё первокурсников?

— Ладно, — говорю, — раз такое дело, сдам твой зачет.

Мне что не сдать, немецкий я ещё не забыл и время свободное есть. Я после института работой себя не перегружаю, попробовал на заводе – скукота. Это не по мне. В ресторане «Утёс» на бас-гитаре играю, а в теплое время в подземке на штырке стоим* со скрипачом Сашкой из «Серебряной ладьи».

Переклеили мы на зачетке фотографию: Вовкину аккуратно сняли, а мою прилепили. Там, конечно, печать была, ну, это дело плёвое – кто на печать вообще смотрит?

Вовка мне объяснил, как аудиторию найти и как зовут преподавателя – Маргарита Владимировна. Что ж, имя хорошее, а отчество

* Стоять на штырке – подрабатывать на улице игрой на музыкальных инструментах (жарг.)

– не очень. Я такие отчества не люблю, они выговариваются трудно: Владимировна, Станиславовна, а то и совсем уж – Всеволодовна.

Короче говоря, всё это меня как-то заинтересовало. А что? Не так скучно, во всяком случае. Честное слово!

Я и пошел.

Захожу в назначенный час в аудиторию, там уже студенты-заочники толкаются. Я выбрал местечко у окна и сел. Все на меня смотрят: дескать, новенький, что ли. Не нравится мне, когда на меня так смотрят. Новенький не новенький, кому какое дело. И тут – цок-цок-цок – входит стройная с зелёными глазами девушка. Оказалось, Маргарита Владимировна и есть. Красавица. Видит аллах, не вру. Я на нее сразу глаз положил.

Все взяли билеты с заданием. Я тоже взял. Гляжу – ну и задание! Раз плюнуть. Вот уж не люблю я такие задания, где и думать не надо.

Ладно. Сижу, вперёд не лезу. Дождался, когда все зачет получили, сижу дальше. Маргарита Владимировна посмотрела на меня своими зелёными из-под элегантных очков, а потом заглянула в свои ведомости.

— Так, — говорит, — остался у нас один Васин. — Ах, у вас и за первый семестр зачета нет?

— Нет, — отвечаю с горечью. — Не сумел подготовиться. По семейным обстоятельствам.

— А сейчас подготовились? — спрашивает, прищурившись, Маргарита Владимировна. Сразу видно, что в курсе самых разных семейных обстоятельств студентов-заочников.

— Сейчас, — говорю, — подготовился.

— Ну, что ж, давайте посмотрим.

— Давайте, — отвечаю, — посмотрим.

Сажусь напротив её и ну шпарить! Да с придыханием на «р», «л», «с» налегаю, заднеязычный «г» раскатываю. У Маргариты Владимировны моей так нижняя губка с верхней и не сомкнулись.

— Как же вы это так сумели подготовиться? — спрашивает она каким-то даже потерянным голосом, когда я остановился.

— Уроки, — отвечаю, — брал. Частные. Стыдно, понимаете, будущему инженеру хотя бы одининостранный язык не знать.

— Конечно-конечно, — говорит Маргарита Владимировна. —

Я очень рада, что вы такое внимание языку уделяете.

— Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiss nicht von seiner eigenen*,
— как говорил великий немецкий поэт Генрих Гейне.

— Это сказал не Гейне, а Гёте, — улыбнулась она.

Ха! Будто я не знаю, что это сказал Иоганн Вольфганг фон Гёте. Но сработало!

Берет она зачетку мою, то есть, Вовкину, конечно, и ставит зачет за оба семестра. Потом расписывается и тогда я уже другим тоном задаю главный вопрос:

— Sind Sie verheiratet? **

А что, тут ведь, сами знаете, буря и натиск нужны.

— Nein, — отвечает, а у самой, гляжу, ушки-то порозовели. — Ich bin ledig***.

Тут я извлёк из глубин памяти все свои знания немецкого языка. И Гейне вспомнил. Оригинал лермонтовского перевода на немецком чудесно звучит.

Из института мы с зеленоглазой Ритой вышли вместе. Душа моя пела, а рядом каблучки по асфальту: цок-цок-цок.

Вот сейчас кто-то скажет: банальная история. Есть такие люди, они все время повторяют: банально, банально! Не нравятся мне они. Их послушать, так всё кругом банально. А что не банально-то? Пускай скажут. Нет, не говорят. Или только то, что с ними лично происходит? Vielleicht****.

На Маргарите я чуть-чуть не женился. Честное слово. Мы даже мимо ЗАГСа стали с ней гулять по вечерам. От Гейне до Кафки дошли. Mein liebchen, was willst du?..***** Да. Но все оказалось не так просто. Это, правда, уже совсем другая история. Я её вам как-нибудь расскажу. Под настроение.

* Кто не знает иностранного языка, тот ничего не знает о своем (и.В.Гёте, нем.)

** Вы замужем? (нем.)

*** Нет. Я не замужем (нем.)

**** Может быть (нем.)

***** Милашка, чего хочешь? (нем.)

МАФУСАИЛ В ОЛИМПИЙКЕ

С утра перед конференцией по обыкновению все собрались в ординаторской, ждали заведующим. Мартовское солнце, яркое и веселое, ломилось в окна, расстилаясь по полу желтыми квадратами, и у всех врачей, даже у вечно хмурого и недовольного Сомова, было хорошее настроение.

— Друзья мои, — бодро объявил Сергей Сергеевич Кудрявцев, аккуратно укладывая на аппарат телефонную трубку, — друзья мои, знаете, моего Рыжова прооперировали вчера в кардиоцентре и успешно — поставили три стента.

— Это который — Рыжов? — вяло спросил Сомов, полный мужчина с красным носом-пуговкой, на котором удобно сидели очки в тонкой золотой оправе. — Депутат или бандит?

Сидящая у окна крашеная блондинка Елена Васильевна, недавно пришедшая в кардиологическое отделение из Первоградской, но уже освоившаяся в новом коллективе, оторвалась от косметички.

— Какая разница? — пожалала она плечами.

— Действительно, — сострил Сомов. — Какая разница?

— Нынче мужики как мухи мрут, — прокуреным голосом проговорила Татьяна Ивановна, полгода назад похоронившая мужа, горького пьяницу, и непонятно было — радуется её этот факт, что мужики мрут как мухи, или огорчает.

— Пятьдесят восемь, — голосом крупье сказал Сомов и, помолчав, добавил, — и всё.

— Что — всё? — спросила Татьяна Ивановна.

— Анекдот такой есть, хотите, расскажу?

— Ну, попробуйте.

Сомов поудобней устроился в кресле и начал рассказывать.

— Звонят в дверь. Мужик открывает, а там — баба с косой. Ты кто, спрашивает мужик. Та отвечает: смерть твоя. Ну и что, говорит мужик. А смерть ему: да вот, в общем-то, и всё!

В углу кто-то фыркнул.

— А при чем тут пятьдесят восемь? — пожалала плечами лишенная чувства юмора суровая вдова.

— Смею вам напомнить, — усмехнулся Сомов, — что пятьдесят восемь лет — это продолжительность жизни мужчины в России.

— Женщины, как известно, живут дольше, — резюмировал Сергей Сергеич.

— И это закономерно, — строго сказала опытная Татьяна Ивановна.

— Разумеется, — поддержала её Елена Васильевна, которая была не замужем и своего опыта по такой причине у неё, можно сказать, еще не было, но мнение все же имелось.

— Что вы хотите! — возмущенно воскликнул Сомов. — Это все паленая водка!

— Да не паленая, а просто – водка! — не согласилась Татьяна Ивановна. — Ведь пьют же, как...я не знаю... сапожники!

В углу раздался кашель.

— Причем тут сапожники, — обиженно проговорил Сомов, точно сам принадлежал к несчастной касте сапожников, и снял очки. — Если бы...

— В прежние времена мужчины были другие, — мечтательно заметила Татьяна Ивановна. Можно было подумать, будто она жила в эти прежние времена. — Да, другие, и среди них, да будет вам известно, — с ехидной ноткой в голосе добавила мужененавистница, — тоже было немало долгожителей. Выражение «мафусаилов век», между прочим, пошло, как вы знаете, не от женщины-долгожительницы.

— Эх, куда хватили! — хмыкнул Сомов. — Аж в Ветхий Завет!

— А что, все библейские долгожители — мужчины, — не сдавалась Татьяна Ивановна.

— Ну, Библия вообще о женщинах немного повествует.

— Почему же? Вот, например, Эсфирь...

— Боже мой! — с деланным испугом воскликнул Сомов. — Татьяна Ивановна, уважаемая, неужели вы сторонница геноцида?

— О чем это вы? — не поняла Татьяна Ивановна и нахмурилась. — Эсфирь, да будет вам известно...

— А знаете, — перебил зашедший в дебри тысячелетий спор Сергей Сергеич, — у меня в практике был один занимательный случай. Вот послушайте.

Лет двадцать тому назад я работал в геронтологическом центре. Больные, сами понимаете, возраста, не молодого, мы, медики, к этому там привыкли. Но вот как-то раз попросил меня мой товарищ

доктор Золотцев, знаете такого, ну вот, попросил он меня, значит, посмотреть его больных – куда-то ему нужно было отлучиться. Ладно. Начался обход. Одним из больных моего приятеля оказался крепкий такой старик, сухой, жилистый – про таких говорят: военная косточка. Да так оно, впрочем, и оказалось на деле. В истории болезни – хронический бронхит. Послушал я его и спрашиваю по привычке: «На что жалуетесь?» А он отвечает: «Да вот, слышу плохо». Ну, думаю, переборщил Золотцев с канамицином, посадил деду слуховой нерв.

— Ототоксический эффект, — вставил Сомов.

— Именно так. С антибиотиками, как известно, случается. — Сергей Сергеич усмехнулся и продолжил рассказ.

«Давно это у вас?» — спрашиваю. «Что?» — говорит мой старичок и ладошку к уху прикладывает. «Со слухом-то давно, — спрашиваю, — проблемы?» — а сам тем временем думаю, что надо показать ветерана лору.

«Давненько, товарищ врач, — по военному рапортует больной. — С лета шестнадцатого года. Помню, как под командованием генерала от кавалерии Брусилова прорвали мы оборону на Юго-Западном фронте и в наступление пошли. Австрияки бежали от нас, как ошпаренные. Вот тут...» — «Постойте-постойте! — перебил я рапорт бравого солдата. — Какие еще австрияки? Какого Брусилова?» — «Брусилова Алексея Алексеича, — четко отвечает больной, а сам даже вытянулся по-военному. — Неприятель тогда потерял больше миллиона человек, а мы...» — «Да когда же это было-то?» — вытаращил я на него глаза, но собеседник мой нисколько не смутился. «Так известно, в августе 1916-го, — как на плацу перед строем докладывает ветеран, — на австро-венгерской территории. Бомба недалеко от нас шарахнула, контузило меня. Вот с тех пор плоховато слышу».

В голове у меня возникали какие-то обрывки знаний из школьной истории, но они никак не хотели увязываться с сидящим напротив стариком в синей олимпийке. Брусиловский прорыв?.. Кажется, так... Но, позвольте, это же Первая мировая война? Не может быть!

«Сколько вам лет?» — спрашиваю. — «Что? — «Лет вам сколько?» — прибавил я голоса. — «А-а, так девять десятков в ноябре аккурат выйдет. Три войны прошел. Пять ранений. Два «Геоργия», медаль «За отвагу», «Красная звезда», опять же...»

Сергей Сергеич возбужденно оглядел слушателей.

— Вы представляете? Брусиловский прорыв! В голове не укладывается.

— Да уж! — с иронией проговорил Сомов.

— Тут не знаешь, то ли завидовать такому долгожительству, то ли сочувствовать, — сказала Елена Васильевна задумчиво.

— Почему же сочувствовать? — возразил Сергей Сергеич. — Старик был, как говорится, в полном здравии и трезвой памяти.

— Вот поколение было, не то, что сейчас! — теперь в голосе Татьяны Ивановны слышалось явное пренебрежение к нынешнему поколению, к которому, по всей видимости, она относилась, прежде всего, своего покойного мужа, а вместе с ним и всех современных мужчин, не исключая присутствующих.

— Богатыри – не мы! — поддержал Сомов. — И что же, много ли еще этот ваш Мафусаил прожил?

— Не знаю, — ответил Сергей Сергеич. — Больше мы с ним не виделись. А коллеги в ординаторской, когда я рассказал про участника знаменитого Брусиловского прорыва, вошедшего во все исторические справочники и энциклопедии, посмеялись от души. Долго еще надо мной подшучивали: не лечу ли я, дескать, участников Куликовской битвы или, на крайний случай, Бородинского сражения?

— Вопрос резонный! — сказал, поднимаясь, Сомов.

Сергей Сергеич засмеялся.

— Конечно! Только я всех к Золотцеву отправлял: он, говорю, на ветеранах специализируется!

МЕМОТГО MORI

Про таких как Изольда Петровна Кузнечикова поэт Некрасов когда-то сказал: «коня на скаку остановит» да еще и «в горящую избу войдет». Правда, горящих изб на жизненном пути Изольды Петровны, к счастью, не встречалось, коней она тоже не останавливала, а вот мужчин – сколько угодно. Но это в прошлом, когда ей было... ну, скажем, лет тридцать и даже сорок, теперь же годы взяли своё, и мужчины как-то незаметно исчезли из поля зрения Изольды Петровны. Всю оставшуюся энергию она направила на двух дочерей и сына. Держала их, что называется, в ежовых рукавицах. С внуками, справедливости ради надо сказать, старалась быть ласковой и кроткой. Выглядело это неправдоподобно, и когда многопудовая бабушка, поглаживая заметные черные усики над верхней губой, ворковала над малышом протодьяконским басом: «Ах ты, мой зайчик!», никто из взрослых в искренность слов не верил, а дети пугались и начинали реветь.

Короче говоря, Изольда Петровна была женщиной властной и жизнелюбивой, настолько жизнелюбивой, что смерти не боялась во все. Неминуемый конец приводил её сверстниц в трепет, а Изольда Петровна, участвуя в разговорах на эсхатологическую тему, что ежевечерне происходили на лавочке у подъезда, только хохотала оглушительно и, хлопая тяжелой ладонью по костлявому колену соседки, говорила:

— Брось, Марковна, три к носу! Конечно, когда-нибудь будет, что и нас не будет. Ну, так что? Это сегодня умереть страшно, а когда-нибудь – ничего! Так ли? То-то. Умели жить, так и помереть сумеем! Так что тяни лямку, пока не выкопали ямку! Хо-хо-хо!

Вот такая это была бесстрашная и мудрая женщина, Изольда Петровна Кузнечикова!

Однажды в конце зимы, а точнее, 8-го марта, когда сын и дочери с мужьями явились к ней с поздравлениями, Изольда Петровна, расставив по вазам цветы, объявила:

— Слушайте сюда! — сказала она командным голосом, и все притихли, — Такое, значит, дело. По месту моей прежней работы, а там, — Кузнечикова подняла указательный палец вверх, как бы показывая, где находилась в незабвенное время Высшая партшкола, —

там меня, как вы знаете, заслуженно уважали и ценили, мне дали денежное вознаграждение за добросовестный труд. — Изольда Петровна сделала ударение на последних словах и многозначительно посмотрела на старшего зятя, тот почему-то заерзал на стуле и смущенно пожал плечами. — Так вот, я решила потратить эти деньги разумно.

— Кто бы сомневался! — тихо сказал более смелый младший зять, а его жена, внешне чрезвычайно похожая на свою мать, ткнула его локтем в бок.

— И как же это? — спросил с надеждой в голосе сын.

— А вот так, — произнесла Изольда Петровна угрожающим тоном. — Я решила поставить памятник на могиле мамы.

Наступила гробовая тишина.

— Хорошо, — неуверенно произнесла старшая дочь, которая нравом уродилась в отца. — Лучше не придумашь.

Остальные молчали в ожидании, зная, что этим дело не кончится, иначе старуха не устроила бы такой совет в Филях.

— Конечно, хорошо, — пробасила Изольда Петровна. — Еще бы! Я давно думала об этом. Но не хватало средств... А вам, разумеется, не до того, своих забот хватает.

Старший зять вскочил и уронил стул:

— Вы знаете, что дела фирмы...

— Знаю, — оборвала его Изольда Петровна. — Знаю. Сядь. чего стулья-то ломать? Вчера я съездила в мастерскую, где памятники изготавливают, «Каменный гость», и все узнала.

— Что — каменный гость? — заморгал сын.

— «Каменный гость» — так мастерская называется, — пояснила Кузнечикова. — Там делают памятники.

— Понятно.

— Ну, раз вам понятно, так извольте по три тысячи с каждой семьи.

Повисла пауза.

— А зачем по три тысячи? — голос старшей дочери предательски дрогнул.

— Да, действительно, — поддержал ее зять, — зачем?

— Затем! — отрезала Изольда Петровна и замолчала. — Затем, что моей премии на черный гранит не хватает.

— А-а, — протянул сын с кислой улыбкой.

— Может, тогда из мраморной крошки? — робко вставил старший зять.

Изольда Петровна громко отхлебнула из чашки с фиолетовыми цветами остывшего чая.

— Из крошки тебе поставим, — сказала она, не глядя на зятя, и продолжила: — Надеюсь, вы меня поддержите.

Семейные пары молча переглянулись. Последняя фраза матери прозвучала двусмысленно. Было непонятно, в чем требовалась поддержка: то ли в средствах на памятник из черного гранита, то ли в грядущей установке памятника из мраморной крошки пока еще здравствующему мужу старшей дочери?

— И вот еще что, — добавила Кузнечикова. — На памятнике будут две фотографии.

— Кто же еще? — осторожно поинтересовался сын. — Папа?

Изольда Петровна посмотрела на своего отпрыска с чувством глубокой жалости, как на тяжело больного.

— Нет, — вздохнула она. — Где находится могила вашего отца, я не знаю и знать не хочу! Этот человек погубил мою молодость...

Собравшиеся уставились взглядами в скатерть, ожидая, что старуха по обыкновению начнет вспоминать тяготы горькой жизни со сбежавшим и почившим вдали от семейства Кузнечиковым, но на этот раз она удержалась от воспоминаний.

— На памятнике буду я! — в полной тишине заявила Изольда Петровна.

Старшая дочь поперхнулась и закашлялась. Муж добросовестно и, кажется, не без удовольствия стал колотить её по спине. Первым пришел в себя младший зять:

— Но, мама... э, Изольда Петровна, вы же это...живы... к счастью!

— Вот именно, жива, — глаза бесстрашной старухи молодо сверкнули из-под очков, — жива, и неизвестно еще, кто... — она не договорила и посмотрела на старшего зятя. — Имею основания предполагать, что после моей смерти вы не поместите на памятник мою фотографию.

За столом произошло оживление.

— Да что вы!.. Как можно, мама!.. Почему?.. Дамы...

— Тихо! — от голоса Изольды Петровны в серванте вздрогнул хрусталь. — Могу я иметь своё мнение? Вам же некогда, — старуха опять посмотрела на старшего зятя, — дела фирмы и т.п. Это раз. Кроме того, я сама хочу выбрать портрет, а то у вас хватит ума дать моё фото в старости. Это два. И, наконец, надо же мне увидеть, как я буду выглядеть на граните и убедиться, что памятник установят правильно, чтобы он смотрелся с дороги? Это три. Возражений нет?

Возражений не было.

Через два месяца памятник привезли на кладбище. Два мужика с пропитыми лицами, рабочие мастерской «Каменный гость», по очереди крича «вира» и «майна», установили гранитную глыбу, не уступающую по тяжести истукану с острова Пасхи, рядом с могильным холмиком, на месте, где раньше стоял скромный сосновый крест с табличкой, извещавшей, что именно здесь покоится прах мамы Изольды Петровны.

Присутствовало все семейство. Сама Кузнечикова сидела на скамейке у могилы напротив и, пощипывая усы, наблюдала за установкой памятника. Наконец, все было готово, и один из рабочих снял с лицевой стороны монумента защитную пленку.

Все так и ахнули.

Гранитная плита размером 60x140 в вялых лучах осеннего солнца тускло отливала антрацитом. Сверху была помещена фотография почившей в Бозе мамы и бабушки, востроносенькой старушки в платке, завязанном под подбородком; сбоку, как положено, указаны фамилия, имя, отчество, даты жизни и смерти. Ниже – портрет цветущей дамы лет тридцати в легкомысленной шляпке с огромным бантом. Надпись же гласила, что это Кузнечикова Изольда Петровна, годы жизни 1930 – 20... Тут было оставлено место, чтобы поставить две цифры скорбного года, когда этой чудо-женщине суждено будет завершить свой земной путь.

Минута молчания затянулась. Бедные родственники стояли, потупив взоры в землю. По земле бегали муравьи. Один из рабочих вдруг узнал в сидящей на скамейке старухе молодую даму с портрета на памятнике, потряс головой, потом вытянул к фотографии грязный палец и замычал что-то нечленораздельное. Другой покрутил пальцем у виска, пробормотал: «Ну, дают!» и потащил товарища к машине.

Изольда Петровна, прищурившись, глядела на памятник.

— Что ж, — наконец вынесла она довольным голосом короткое резюме, — неплохо. — Затем указала на свою фотографию и добавила: — Эту заклеить. Пока.

ПРОСТАЯ НАУКА

— Ну-ка, юноша, поведай нам, что это ты дерешься? — с чуть заметной, спрятанной в густую бороду, усмешкой спросил председатель приемной комиссии, ректор семинарии, владыка Афанасий и для пушей строгости постучал карандашом по столу. — Вот рассказывают, троих побил?

Остальные члены комиссии хранили молчание, и только проректор митрофорный протоиерей Николай Назаренко сухо кашлял в кулак.

Стоящий перед столом, за которым заседала приемная комиссия, вихрастый, с оттопыренными ушами, тщедушного телосложения абитуриент по фамилии Коледа, приехавший поступать в семинарию откуда-то издалека, чуть ли не из Бреста, исподлобья смотрел на архиерея и молчал.

— Что молчишь, герой? — снова спросил владыка. — Или в спецназе служил?

— Нигде я не служил! — буркнул бедолага-драчун.

— А чего же дерешься?

— Не привык обиды терпеть!

Архиерей приподнял бровь.

— Ишь ты какой! А Господь говорит, надо прощать обидчикам. Или ты не читал Священное Писание?

— Читал.

— Плохо, значит, читал. Или не понял?

Потерев кулаком щеку, мальчишка сказал обиженным тоном:

— Понял. Только мне до этого далеко.

Владыка согласно покачал головой. Чем-то ему этот парень нравился.

— Это, пожалуй, так. Правильно понял, — сказал он и повернулся к проректору. — И что с таким бойцом будем делать?

Отец Николай развел руками и, как опытный политик, уклончиво ответил:

— Как благословите, владыко.

Члены комиссии зашуршали бумагами, но никто не проронил ни слова. Архиерей погладил бороду.

— Да... — произнес он задумчиво и с сочувствием оглядел сидящих за столом священников, вздохнул. — Что ж, может, пусть в монастырь к отцу Паисию на исправление отправляется? Или в армию идет служить?

В аудитории раздался сухой кашель проректора. Парень поптичьи вскинул голову и, глядя прямо в лицо архиерея, отчетливо проговорил:

— Лучше уж в армию!

Стало тихо, как во время Херувимской. Члены комиссии оторвались от документов и с интересом смотрели на дерзкого ответчика, наблюдая боковым зрением за архиереем: что-то будет?

— Ага! — словно обрадовавшись, воскликнул владыка Афанасий и откинулся на спинку стула. — Ну, будь по твоему — служи Отечеству, а потом, если поумнеешь, приезжай экзамены сдавать. — Онгрузно поднялся и сказал усталым голосом. — Все, отцы, аминь!

На том заседании комиссии закончилось.

После обеда архиерей отправился в дальний монастырь. Дорогу туда недавно отремонтировали, и машина почти бесшумно, плавно покачиваясь, неслась вдоль леса. Говорить не хотелось, и владыка молча смотрел на августовские, уставшие от жары, но еще без признаков желтизны деревья, вспоминал сегодняшнее заседание и вихрастого мальчишку. «Лучше уж в армию!» — усмехнулся он. Ишь ты! А что он знает про армию? Да и про монастырь, которого испугался? А может, не испугался? Парень-то, вроде, не из пугливых.

Он закрыл глаза и вдруг, как наяву, увидел перед собой бабушку, которая после смерти родителей воспитывала его, сироту. Единственный родной человек на всей земле.

— И не вздумай ты, Алешка (тогда его звали Алексеем), вступать в эти свои октябрята! Тоже ведь выдумали! Безбожником хочешь вырасти, а? — бабушка наклоняется и заглядывает Алеше в глаза. Он не может выдержать ее взгляда и опускает голову. Оба молчат. Где-то за околлицей высокий голос затянул песню: «Ой рана-а Ивана-а!».

Бабушка тяжело вздыхает:

— С кем поведешься, от того и наберешься, известное дело. Кем ты хочешь стать? Вон как дядька Семен, пьяницей да горлопаном, так что ли?

— Так весь класс же, баб... — робко возражает понурый Алеша, которому и самому страх как не хочется становиться октябренок, но ведь все, даже лучший дружок Ванька, и тот...

— И что — все? — все в огонь полезут, так и ты с ними?

Алеше хочется сказать, что он не дурак в огонь лезть без надобности, но если все, то да, пожалуй, полезет, но он молчит.

— У нас в семье безбожников не было, нет и не будет! — решительно заявила бабушка. — Запомни это. Уж лучше вон в колодец упасть, чем в твои октябрюта... — бабушка показывает длинным пальцем на колодезный сруб в дальнем конце огорода, потом крепится. — Прости, Господи! — и уходит в дом.

В колодец? Выдумала! Чего туда падать-то, думает Алеша и вдруг чувствует, что его как магнитом тянет к колодцу. Он, вздыхая, бредет среди грядок к почерневшему от времени, вросшему в землю срубу, с трудом сдвигает тяжелую крышку и заглядывает в глубину. Оттуда тянет холодом и сыростью. Вода где-то глубоко, в середине земли, наверное, — сверху и не видать даже — черным-черно.

Алеша поднимает камешек и бросает в колодец. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть...». Бульк! «Вот глубина-то! Чуть-чуть перегнуться и ... — Он передергивает плечами. — Не дай Бог упасть в колодец — сначала будешь лететь, лететь... раз, два, три, четыре, пять, шесть... а потом плюхнешься в воду. А если там и не вода вовсе, а что-нибудь... что-нибудь другое...». Алеша не может придумать, что же там в колодце вместо воды, и от этого ему становится еще страшнее. Страх моментально выстраивает логическую цепочку: бабушка говорит, что лучше в колодец упасть, чем стать октябренок, но раз в колодце такая жуть, значит, значит... «Нет уж, пусть все, пусть даже Ванька, пускай, а я... нет, нет, ни за какие коврижки», — думает он и бежит к дому.

— Бабушка! — кричит, запыхавшись, Алеша и бросается к старухе на грудь. — Бабушка!

— Что ты? То ты, родимый? — обнимает она его. — его испугался

Под ее руками тепло и не страшно.

— Нет, я ничего, — успокаивается Алеша. — Я это... Не хочу в октябрюта!

Бабушка прижимает мальчика к себе.

— Эх, чадушко!..

И Алеша видит, как от окна тянется к ним с бабушкой солнечный лучик, тугой, почти белый, а в нем танцуют пылинки. Хочется потрогать его рукой, но ничего не получается – вот он, луч-то, а не ухватить...

— Владыко, приехали! — разбудил задремавшего архиерея голос водителя.

На землю опустились сумерки. Машина въезжала в ворота монастыря.

ЖИВОТВОРЯЩИЙ КРЕСТ

Осенью, когда по деревне полетели первые легкие паутинки, я заболел. Бабушка сказала, что в речке перекупался. Но это не так. Потому что перекупаться вообще нельзя, недокупаться — это я понимаю, это еще можно, а перекупаться — нет.

Получилось у меня воспаление легких. Я никому не советую болеть воспалением легких: что хорошего валяться две недели в кровати? Да еще с высокой температурой. А когда встанешь, комната так и плывет — стол на потолок уходит, а божница с иконами — под окно. И ноги слабые, не держат. Так что не успеешь и шагу сделать, как опять в кровати оказываешься.

Помню сквозь жар, как приходил фельдшер из поселка, слушал меня трубкой и качал головой. На голове у него волос мало и легкие они, словно пух — так и хочется подуть, как на одуванчик. Я и хотел подуть, но бабушка пригрозила мне пальцем. Имя у фельдшера было чудное — Капитон, Капитон Евдокимович.

— Дело нешуточное, — говорил он бабушке. — Да, нешуточное... Гм... Надо бы в больницу его, — он кивнул на меня. — В район.

Бабушка сокрушенно охала.

— Да как же, батюшка, в район-то? Как один там мальчонка-то будет?

— Не хочу в больницу! — крикнул я и вдруг, сразу ослабев, уснул. Ничего больше не помню.

В больницу меня бабушка не повезла, лечила сама, как умела. Хуже всего было ночью. Я бредил, и мне часто снился один и тот же неприятный сон. Снилось, будто я смотрю от реки на тропинку, которая сбегает с горы, а по той тропинке, вернее наперерез ее, голый человек толкает перед собой огромный короб, в котором горит огонь. Короб медленно двигается, а языки пламени так и рвутся из него, даже меня, хоть я и далеко, обжигают.

Я просыпался весь в жару. Бабушка обычно сидела на краю моей кровати, подперев кулаком голову. В комнате было темно, только лампадка у образов чуть теплилась.

— Что, мой мальчик? Чего тебе хочется? — спрашивала бабушка, заметив, что я проснулся.

— Калины, — шептал я, облизывая сухие губы и снова закрывая глаза.

Да, калина меня, можно сказать, на ноги поставила. Бабушка толкла ее в большой глиняной кружке, добавляла меду и давала мне. Я ел сладко-горькое месиво, и мне становилось легче.

Когда я не спал, бабушка тихонько пела песни, рассказывала стихи и разные истории, до которых я был большой охотник. Одна из таких историй — о Животворящем Кресте — особенно врезалась мне в память.

Произошло это давно, когда еще бабушка была маленькой. Ну, лет сто назад, наверное, не меньше. Недалеко от нашей деревни есть село. Я его знаю, проезжали на автобусе, когда ездили с бабушкой в район летом. В самом центре села и сейчас еще стоит колокольня, высокая такая, из белого кирпича. А раньше, рассказывала бабушка, и церковь стояла. Знаменитая была церковь, ее построили еще при князе Пожарском в честь Воздвижения Животворящего Креста Господня. И хранился в этой церкви чудесный крест. Он и в церковь-то попал чудом. Будто бы однажды проходил недалеко от села через болото слепой человек, да и стал тонуть в трясине. Совсем было уж утонул, как вдруг ноги его чувствовали опору. Так и спасся. Пришел он потом в село и рассказал обо всем. Мужики, конечно, собрались и пошли поглядеть на то место. И в болотину полезли — охота пуще неволи. Залезли в болото, нащупали ту опору и достали из трясины крест.

— Большой был крест, выше человеческого росту — рассказывает бабушка, а я слушаю, затаив дыхание, даже про калину в кружке забыл. — Да, выше, я сама видела, — она перекрестилась на образа. — Раньше на праздники тот Крест по домам носили — по всем деревням, бывало, носят...

— А зачем по домам-то? — спрашиваю я.

— Так чудодейный был Крест-то. Болящим исцеление давал, бедным — утешение. Занесут его в избу, батюшка кадит, и все поют: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...».

— Баб, а в болоте-то Крест не сгнил, что ли?

— Нет. Чай, не простой был. Животворящий Крест, святой. Помню, сосед наш, Матвей Иваныч — ноги у него не ходили — приложился к Кресту и, что ты думал, пошел ведь! Да... Бывало, приносят Крест в деревню, так ведь что — в иную избу запросто занесут, а в

иную – хоть и большая изба-то и ворота широкие — не идет Крест и все тут!

— Почему?

— А потому, родное сердце, что и в малой избенке праведно люди жить могут. В такую, значит, и Крест входил без труда. А другая изба, что твои хоромы, да живут в ней люди недобрые – так и не шел никак в нее Крест. Понял ли?

— Понял.

— Ну и ладно.

— Вот бы к нам этот Крест сейчас занести, я бы скоро поправился!

— Конечно.

— А он к нам вошел бы, в дом-то? Бабушка вздохнула.

— Это, мой мальчик, один Бог знает.

— А ты как думаешь?

Она гладит меня по голове. Рука у нее прохладная, так приятно ощущать ее на горячем лбу.

— Вошел бы, конечно, думаю, вошел бы, — отвечает она.

Я задремал, и бабушка замолчала.

Так мы с ней часто беседовали. Иногда сквозь сон я видел, как она встает, тяжело вздыхая, опускается на колени перед иконами и начинает шепотом молиться. Молится она долго, я почти никогда не могу дождаться, когда она подымется с колен, и засыпаю.

И вот однажды ночью, когда я наблюдал за бабушкиной молитвой, меня как кипятком обдало: а ну как бабушка умрет?! Раньше я никогда об этом не задумывался, и теперь сердце мое сдавила неведомая прежде жалость. Я представил бабушку, лежащую в гробу со свечкой в руках, наподобие бабки Гани, нашей соседки, которая умерла в начале лета, и мы со Славкой ходили на нее смотреть. Слезы потекли у меня из глаз, и я, как ни крепился, всхлипнул.

Бабушка услышала и подошла к кровати.

— Что? Что с тобой? — спросила она, наклоняясь надо мной.

Я не отвечал, уткнувшись в подушку.

— Да скажи ты мне, наконец, родное сердце, что стряслось-то? — тормошила она меня за плечо.

Немного успокоившись, я повернул к ней голову.

— Баб, а ты... умрешь?

— Я?.. Ну да, конечно, умру когда-нибудь.

— Не скоро?

— Уж как Бог даст. Что это ты вдруг?

— Так... Почему люди умирают?

— Вот те на! Ответь-ка ему!.. Почему умирают... А как же иначе? Смерти никто не избежит, так Господу угодно.

— Зачем?

— Это не нам знать. — Бабушка помолчала. — Да и не надо знать-то... Живи на свете по заповедям Божиим да моли Его о мирной и непостыдной кончине — и весь наказ тут. А час придет, так и умрешь, как полагается.

— Значит, Бог жизнью распоряжается? — спросил я.

— А то кто же? Конечно, Он — Господь наш — и жизнью, и смертью.

— И Он может сделать так, чтобы человек дольше жил?

— Может. Он все может. Да будет тебе, спи, не задавай вопросов, они от лукавого.

Я замолчал и стал обдумывать одну мысль, которая пришла мне в голову во время разговора. «О чем бабушка молится? — думал я. — Что у Бога просит? Наверно, просит, чтобы не торопился посылать ангела по её душу. Точно. А то как же — если она умрет, то я-то с кем останусь? Папа с мамой когда еще приедут! Значит, надо и мне попросить Его за бабушку. Детская молитва скорее дойдет. Так бабушка говорит. Попрошу, чтобы бабушка жила долго-долго! Только вот сделать это надо так, чтобы никто не видел и не слышал. Кроме Бога, конечно». И я решил помолиться, когда бабушка куда-нибудь уйдет.

Такой случай долго мне не предоставлялся. Я уже стал помаленьку вставать с кровати, и комната уже не кружилась у меня перед глазами. Дело шло на поправку. Я бродил по дому, глядел в окно. На молодой клен возле плетня, который, пока я болел, стал совсем красным, просто огненным. Ветер срывал с клена листья, и они, кружась, падали в траву. Целый ковер напал, даже и травы было видно. И вот, где-то в конце сентября, бабушка собралась в церковь.

— Я быстро обернусь, — сказала она. — Ты уж один посиди, ладно? А то, хочешь, я Славку приведу?

В другое время я бы обрадовался, но сейчас друг мой Славка не входил в мои планы.

— Нет, — ответил я. — Посижу один. А Славка вечером придет.

— Ну, как знаешь. А мне надо к празднику. Большой нынче праздник-то – Воздвижение Креста Господня.

— Это про который ты рассказывала?

— Нет. Крест другой, конечно. На нем Спаситель был распят. А мать царя Константина, Елена, нашла Крест на Голгофе.

— А тот, из болота, где теперь?

— Бог весть. Сказывали, в музее его поставили. Не знаю. Кто сейчас разберет? Церковь давно разрушили, одна колокольня в небо перстом торчит... Спаси, Господи, люди Твоя...

— Ну ладно, иди, а то опоздаешь на праздник.

Я видел в окно, как бабушка прошла мимо дома, свернула за угол на дорогу, ведущую в поселок. Потом задернул занавески на всех окнах, чтобы никто не подглядел, как я буду молиться. На божнице у нас стояло много икон: и старые – большие и темные, и маленькие из картона, эти были совсем новые, их бабушка приносила из церкви. Из всех образов я знал Спасителя, Богородицу» Николая Чудотворца и еще батюшку Серафима с маленькой иконки, на которой он был нарисован стоящим на коленях в лесу, и рядом с ним лежал топор. Я нашел спрятанные бабушкой спички, зажег свечу, а от нее, как учила бабушка, лампадку перед образами. Потом опустился на колени и стал смотреть на лики святых, не зная, кого же из них просить за бабушку.

В доме было тихо, только часы-ходики за перегородкой громко стучали. Остановив свой выбор на Николае Чудотворце, я, глядя на темную икону, на которой едва просматривались кресты на одежде старца с высоким лбом, держащего в одной руке книгу, стал вспоминать молитвы. Твердо помнил я две – «Отче наш» и «Богородицу». Еще «Верую», но не всю, до слов «Распятого же за ны при Понтийском Пилате, и страдавша, и погребенна...». Что потом, запомнить не мог. Но эти молитвы как-то не подходили к тому, что мне было нужно. На всякий случай я негромко прочитал их, а как быть дальше? С божницы на меня строго смотрели лики святых, я чувствовал смущение и страх: вот собрался попросить бабушке долгих лет жизни, а как

это сделать, не знаю. Главное, с чего начать, как обратиться к Николаю Чудотворцу? Просто Николай – боязно, всё-таки старый уже человек; дядя Коля – к святому так, пожалуй, нельзя. У меня даже голова начала немного кружиться и на глаза навернулись слёзы. В конце концов, я подумал, что какие бы слова я ни сказал, на небе меня всё равно услышат и поймут – там же знают, что я ещё маленький и не все молитвы знаю. И ещё я дал себе слово, что обязательно спрошу у бабушки, как надо молиться Николаю Чудотворцу.

— Батюшка Николай Чудотворец! — начал я. — Сделай, пожалуйста, так, чтобы моя бабушка — я назвал её имя, — никогда не умерла... То есть нет, если так нельзя, то пусть живёт долго-долго... Тут я вспомнил о маме и папе. Как-то нехорошо получится: за бабушку прошу, а за родителей нет. И я добавил: И ещё папа и мама пусть долго живут... И никто из них пусть не болеет. Особенно бабушка, потому что она уже старенькая, у неё ноги болят и сердце, она скоро умереть может. Но я её очень люблю и жалею, поэтому ты помоги мне – пусть она живёт ещё много лет, она добрая и всегда Богу молится... и тебе тоже, я вижу, как она ночью кланяется иконам. Сделай так, батюшка Николай Чудотворец, и я всю жизнь буду тебя любить и свечки тебе ставить, а как молиться тебе, я у бабушки спрошу... Сердце моё сжалось, и я заплакал. Строгие лики на божнице заколыхались и расплылись в сплошное светлое пятно, в самой середине которого было яркое сияние от лампадки. Говорить я уже не мог, слёзы катились из глаз горохом, и я вытирал их со щёк обеими руками, но они всё катились, горячие и солёные...

Вечером, когда бабушка, подоив корову и протопив печь, присела ко мне на кровать, я спросил:

— Баб, а как Николаю Чудотворцу молятся?

— Как молятся? Да как и всем святым. Что это ты вдруг?

— Так... Молитва же, наверное, есть специальная?

— Ну да. Конечно, есть. — Бабушка внимательно на меня посмотрела. — И не одна.

— Скажи мне.

— Слушай, вот какая молитва.

И она стала говорить слова, а я про себя повторял их за ней: «Святителю отче Николае, моли Бога о нас».

— Значит, если у него попросить, он потом Богу передаст?

Бабушка улыбнулась и погладила мне волосы.

— Ну, вроде того. Он за нас Христа молит.

Скоро я уснул, и в ту ночь мне не снился голый человек, толкающий короб с огнём. Приснилось, что в наш дом занесли Животворящий Крест. Он был такой огромный, но в комнате поместился свободно. Возле Креста стоял невысокий высоколобый старик в сверкающих одеждах с крестовым воротником. В одной руке он держал раскрытую книгу, а в другой блестящее кадило на цепочках. Ласково улыбаясь, старик размахивал кадилом, из которого сизыми клубками вылетал дым, и я чувствовал тонкий запах ладана.

Я крепко спал до самого утра и проснулся совсем здоровым.

ОТЕЛЛО С ПЕСОЧНОЙ УЛИЦЫ

*А почему это так получается в людях?..
Порфирий Иванов, Бог земли**

Я – человек прямой и, смею вас уверить, за словом в карман не лезу. Это вам всякий скажет в нашем городе, где меня каждая собака знает, не говоря уж о людях. Правду-матку режу, невзирая на лица. И я вам вот что доложу: как не было у нас свободы слова, так и нет. У меня, как вы понимаете, имеются все основания так заявлять. Мне и врач-психиатр советовал при выписке из больницы: ты, говорит, Иван Иваныч, поосторожней высказывайся, а то опять здесь окажешься. У нас хоть и свобода слова, однако... Ты не напрягайся и волнуйся поменьше, больше спи да гуляй.

Гуляю я по улицам нашего города и, несмотря на запрет доктора, волнуюсь. А как тут, скажите на милость, не волноваться, когда вокруг – Содом и Гоморра! По-русски, значит, пьянство и разврат, с чем я неустанно борюсь, как говорится, пером и шпагой. Один в поле не воин, скажете? Это мы еще поглядим, поглядим-посмотрим!

Главное, как я думаю, общественность поднять. А как это сделать, если пресса молчит, будто ей свободу слова не давали? Раньше не так было, нет, смею вас уверить! Когда я сравниваю нашу газету с областной или центральной, получается, что там у них жизнь, а у нас – болото. Там, если новости, так криминальные, если фотографии, так голых девок. Видно, что борьба идет по всем линиям фронта. А у нас будто тишь да гладь, божья благодать. Как бы не так!

Взять хотя бы известный случай на Песочной улице. Кровавая сцена достойная пера не только столичного журналиста, но и современного Шекспира. И что вы думаете? Поместили крохотную заметку – и все. А я вам расскажу со всеми подробностями, как положено, потому что, если не я, то кто же?

Скрывать не стану, люблю я наш город, он хоть и темное царство, но все же и в нем сверкают порой лучи света. Это я вам говорю, а я прожил здесь ни много ни мало – пятьдесят девять лет, без году на пенсию. Пенсию, правда, мне давно платят – по инвалидности. Но все

* Так он сам себя называл...

равно – перешагнул, так сказать, рубеж средней продолжительности жизни мужчин в России. И теперь, как говорил мой сосед по палате контактер Лева, буду жить сто лет. Хорошо бы. Лева доверять можно: в одной из прежних жизней он был врачом-стоматологом у фараона Хуфу и потому кое-что понимает в многолетии.

А теперь напрягите мозги и постарайтесь назвать хотя бы один сколь-нибудь приличный город или поселок, пусть даже село – одним словом, известный вам населенный пункт, в котором не было бы улицы Ленина? Скажете, такого быть не может? Отнюдь. Такой город есть, это мой родной Кошкин. Кошкин – так он называется. Да. Есть Париж, а есть и Мамадыш. Есть Мышкин, а есть и Кошкин. На карте нашей родины вы его не найдете, разумеется, а в действительности он существует, и не просто существует, но – живет! Еще как живет! Смею вас уверить.

Почему его так называли? Точно этого никто не знает, скажу вам, как краевед. Но у меня есть своя версия. Когда-то, еще в старые времена, до октябрьской эпопеи, здесь процветало кожевенное производство. Умельцы выделывали овечьи, козьи да телячьи шкуры и сбывали их в другие города, а большей частью на Макарьевскую ярмарку. Опойки из Кошкина высоко ценились вплоть до матушки Москвы. Но дело не в этом. Законным промыслом во все времена прожить было трудно. А про жителей Кошкина не случайно писали, что они якобы и живут-то для того, чтобы послаще съесть да получше одеться. Будто другие для чего иного живут! Пусть бросит в меня первым камень тот, кто покажет мне сегодня хоть одного бессребреника.

Народ у нас во все времена был ушлый. Роясь в архивах, нашел я один любопытный документик, из которого узнал, что некогда в нашем славном городе выделывались в немалом количестве бобровые, котиковые и соболиные меха – поддельные, разумеется. Из кошек. Отсюда, возможно, и название города пошло. Я так думаю.

Не зря люди приметили, что яблочко от яблони недалеко откачивается. Не в бровь, а в глаз про наш город. Наследственность – дело тонкое, как говорится. Библию не дурак писал, смею вас уверить, а там однозначно сказано: «Умер отец его – и как будто не умирал, ибо оставил по себе подобное себе». Мало того: наклонности родителей не только передаются детям, они в них усиливаются – добрые к доб-

ру, злые ко злу. Это закон жизни, никуда не денешься. Сосед мой Петрович – пройдоха тот еще. И сынок у него – малый не промах – дальше папаша пошел, на всю Россию прославился. Слыхали про аферу под названием «пирамида Хеопса»? Это он придумал. Теперь, правда, строит другие пирамиды. В Сибири. Но это уж другой рассказ.

Как я уже отметил, в Кошкине нет улицы Ленина. Мало того, у нас вообще нет улиц, носящих имена вождей революции. Как удалось сохранить такую топонимическую девственность – вот очередная загадка для пытливого ума! Я ее, конечно, разгадаю. Со временем. А спасибо предкам надо сказать уже сегодня – от какой мороки нас избавили! Ведь что было-то, помните? Старинный город Рыбинск, например, назвали Щербаковым, потом опять Рыбинском, но ненадолго – переименовали в Андропов, а из Андропова снова в Рыбинск. Денег, небось, потратили уйму! Я лично тогда писал письмо в Верховный Совет с увещеваниями не тратить на такие перемены государственные деньги. Неразменного рубля, сами понимаете, у нас нет, хоть и старались сказку сделать былью. Льщу себя надеждой, что это мое послание заставило руководство страны прислушаться к голосу разума.

Город Рыбинск больше не переименовывали, а вместе с ним и другие города оставили в покое. Вот она – сила слова! Правда, мне врач сказал, чтобы я больше думал о малой родине и не обременял себя государственным масштабом. Он серьезно заблуждался, бедняк-врач, потому что, когда я писал в Верховный Совет, то и о нашем городе думал — это чтобы и его невзначай не переименовали. На мавзолее-то сколько кандидатов стояло по праздникам – на все города в России могло бы хватить. Бог, как теперь говорят, миловал. Ну и мое письмо сыграло, надеюсь, не последнюю роль.

Как был Кошкин, так Кошкин и остался. И никаких вождей. Правда, есть площадь Дзержинского. Маленькая такая, о пяти углах: на четырех стоят игровые автоматы и мини-магазины для продажи пива, жвачки и презервативов, а на пятом – легендарный Феликс в длиннополой расстегнутой шинели глядит зорко, не нарушают ли незнатательные граждане демократический порядок? Еще как нарушают, но бронзовый революционер не может сойти с высоты. Ветры перемен пронесли мимо него. Это москвичи по глупости снесли

своего Феликса, а наши – не дураки, нет. Пусть себе стоит, никому не мешает. Да и кто его разглядывает, спрашивается? Всем наплевать, хоть Че Гевару поставь, все также будут у подножия «джин-тоник» пить.

Кое-какие переименования все же коснулись Кошкина. Из песни слова не выкинешь. Мне не удалось выяснить, кто же был тем Адамом, что давал имена улицам нашего славного города, но явно он был любителем российской словесности, потому что, гуляя по Кошкину, можно изучать русскую литературу. У нас есть улицы Маяковского, Лескова, Тургенева, Серафимовича, баснописца Крылова, певца народной скорби Некрасова и даже мало кому известного писателя-демократа Решетникова. Он написал всего один роман «Подлиповцы» о тяжелой доле крестьян после отмены крепостного права и поперхнулся бы анисовой, если бы кто ему при жизни сказал, что заросшая тополями кривенькая улица волжского городка будет носить его имя. Да и другие классики были бы искренне удивлены, потому что никто из них не только не бывал в Кошкине, но и, смею вас уверить, не слышал о нем.

Не будь исключений, не было бы правил. Центральная улица у нас названа в честь Максима Горького. А Максим Горький, в отличие от других мастеров слова, в Кошкине был. Это я как краевед могу утверждать. По рассказам старожилов, Горький приезжал сюда вместе с Федором Ивановичем Шаляпиным (его улицы почему-то нет), и будто бы даже знаменитый бас пел «Дубинушку» под сенью лип в старом парке.

К исключениям можно отнести также несколько улиц по окраинам города – Нагорная, Солнечная, Песочная и, неожиданно, – Степана Разина. Так вот, на Песочной и произошла кровавая трагедия, о которой я хочу вам рассказать. Ну, по порядку.

Дом, в котором жили мы с матушкой Ниной Петровной, Царство ей Небесное, стоит на пересечении улиц Маяковского и Песочной, так что с юга он как бы на Маяковского, а с востока – на Песочной улице, так и официально числится по документам – Песочная, 13. Я тут вырос, и все события происходили у меня на глазах, поэтому мне и выдумывать ничего не надо.

Песочная улица – это два десятка деревянных домов, каждый на три окошка и только у старухи Олимпиады – на два. Липки возле

домов, рябины, поленницы дров заборы подпирают, чтобы, значит, не рухнули, кошки на поленницах лежат, на солнце греются, благо, с них никто теперь шкуры не дерет, чтобы выдать за бобра или соболя — и настоящие-то соболя не больно кому нужны, а уж поддельные тем паче; в палисадниках золотые шары выше роста, собаки лают на редких прохожих, а посреди улицы, в низинке, у дома инвалида войны Миши Победы лужа с весны до осени не просыхает. Аральское море, и то высохло, а тут — ни обойти, ни объехать. Короче говоря, никакой цивилизации, захолустье в прямом смысле этого слова. Зато — тишина и до реки рукой подать. Река не река, а залив волжский. Берега ивами поросли, а дно — песочек без камней. Бывало — забредешь по колени в воду и стоишь с удочкой в руке, ждешь поклевки серебристого усатого пескаря. В масле на сковородке — нет ничего вкуснее на свете!.. Давно это было, лет тридцать тому. Теперь пескарей, конечно, нету — эта рыбка привередливая, чистую воду ей подавай, а где ее взять, эту чистую воду? В нашей воде только лещи больные поверху плавают, потому что ленточный червь, который в них завелся, не позволяет им на дно опуститься. Но народ у нас, как я уже отмечал, генетически предприимчивый: ловят тех лещей сачками, потрошат и продают в копченом виде отдыхающим за милую душу. А что? — говорят, ленточный червь в рыбе не опасный. Не знаю. Я лично брезгую такими лещами, сам их не ловлю и не ем и другим не советую. К сожалению, мало кто меня слушает.

Так вот, в те далекие времена, когда в речке водились пескари, на нашей тихой улице, четвертый дом с краю, жила семья Бухенко — мать, отец и сын Коля, мой ровесник. Бухенки приехали к нам в Кошкин после войны откуда-то то ли с Северного Кавказа, то ли с Украины. Я, честно признаться, плохо помню отца и мать Кольки, да это и не важно для нашего повествования. Злые языки, кажется, болтали, что старший Бухенко был полицаем и отбывал после войны срок в советских лагерях, а по национальности был чеченец. Не знаю, и врать не стану. Но сдается мне, что тут что-то не то — не мог быть хохол Бухенко чеченцем, потому что, если бы он им был, то у сына его должен быть горбатый нос и черный густой волос. Ничего этого не было даже и в детстве! Точно говорю, потому что мы вместе мальчишками «чижа» гоняли. А потом Николай Бухенко и вовсе без волос остался. Какой же он чеченец? Нос картошкой. Нет, смею вас уве-

речь. Хотя нрав имел и впрямь буйный, но это ведь не только у горцев бывает. Мы его «психом» звали. За глаза, конечно, потому что сказать такое в лицо Кольке – все равно, что добровольно согласиться на фонарь под глазом. Никому спуску не давал. Мне один его трюк до смерти не забыть. Я, когда впервые увидел, сознания лишился. С того дня такое со мной изредка случается, скрывать не стану.

Вот что это был за номер. Недалеко от нашей улицы стоял полуразрушенный храм, в колокольне которого жили голуби. Мы, конечно, стреляли в них из рогаток, был грех. Даже я стрелял, хотя с детства к животным и птицам относился с большой жалостью, как к братьям нашим меньшим. Но отставать от товарищей нельзя было – засмеют, а то еще и презирать будут, обзывая девчонкой. Колька Бухенко умудрялся каким-то образом ловить голубей живыми. Поймает пару, зажмет за голову в каждой руке между указательным и средним пальцами по голубю и нам показывает. Помню, как он при этом смеялся нехорошо, а глаза горят! Мы с пацанами стоим, сбившись в кучу, а он один напротив нас. «Ну что, — говорит, — показать фокус?» Словно замороженные смотрим на него, убежать охота, а не бежим – друг перед другом трусами боимся показаться, киваем только, мол, показать, а сами знаем, что сейчас произойдет страшное. «Глядите, слабаки!» — засмеется он и резко встряхнет вытянутыми вперед руками. Тушки голубей падали на землю, а головы оставались в руках у юного живодера. Он смеялся и бросал оторванные головы в нашу сторону. Как в столбняке стояли мы и смотрели, не в силах вымолвить ни слова – то ли от страха, то ли от восторга; мы не любили его и боялись, но что-то необъяснимое тянуло нас к этому с детства патологически жестокому человеку.

Таким был Коля Бухенко. Потом, много лет спустя, он покончит с собой в тюремной камере. Я так размышляю – закономерный конец. Как у нас говорят: смолоду прореха, к старости – дыра.

В молодости Николай Бухенко куда-то уезжал, а потом вернулся в Кошкин и женился на красивой девушке Наталье с улицы Некрасова, что рядом с памятником железному Феликсу. Я как раз приехал домой, недоучившись в институте по состоянию здоровья – утомляемость у меня открылась сильная. Врачи посоветовали взять академ, а Миша Победа сказал моей матушке: «Переучился парень». Может, и так. Свадьба у Николая с Натальей была широкая. Когда,

выйдя из ЗАГСа, молодожены выпускали по традиции голубей, и вспомнил мальчишеские забавы Коли Бухенко в колокольне, и мне стало нехорошо, хотя все вокруг радовались и смеялись, глядя на птиц, поднимающихся в небо.

«Tempora mutantur», — заявил однажды Лева после очередного сеанса с космическим разумом, и я не нашелся, что ему возразить. Времена, конечно, меняются, а люди как-то очень. Дожив до седых волос и язвы желудка, я убедился, что человек – существо несовершенное и до совершенства ему ой как далеко! Казалось бы, что ему мешают: расти себе духовно, развивай свой интеллект, преобразайся из потенциального homo sapiens в реального – на здоровье! Так ведь нет же, не получается! Возьмем для наглядности Закон Божий. Я, пока лежал в больнице последний раз, досконально изучил все десять заповедей, сверяя их с жизнью.

Так вот – Моисееву закону уже не одна тысяча лет, а можно ли вычеркнуть хоть одну из заповедей, как потерявшую актуальность? Не-ет, нельзя вычеркнуть, потому что все десять словно вчера для нас написаны. И вот я пришел к заключению, что человек с тех давних пор и до нашего времени нисколько не изменился. Есть у меня подозрение, что не изменится и в будущем. Во всяком случае, в лучшую сторону. Пускай хоть по Синайской пустыне бродит, хоть по тундре, хоть по Ярославской области – все одно. Хоть в порфире и виссоне, хоть в сатиновых трусах, как Порфирий Иванов, которого товарищ мой Лева называл «учителем». Возможно, что для Левы он – учитель. А для меня – извините! Чему он меня научит? По городу в трусах ходить, что ли? Так я не пойду. Человек в брюках – меня так учили. Что касается закали-тренировки, так это и без него известно. Я, например, каждое утро обливаюсь на улице водой, и то, что незаметные соседи пальцем у виска крутят, меня мало волнует.

Тогда мы с Левой десять заповедей на стене в палате написали и изучали их каждый день после обхода. И такая мысль пришла мне в голову, что Закон сам по себе, а человек сам по себе. Ведь если бы тогда в колокольне сказать Кольке Бухенко: «Не убий!», он, что, не стал бы голубей убивать, или потом не прикончил бы таким зверским образом кота и на жену руки не поднял? Едва ли.

С котом Сомосой случилось вот что. Это был черный, без единого пятнышка, кот с зелеными глазами. Всех своих собратьев с

окрестных улиц, даже собаки его побаивались – чистый бандит, прозвище – и то у него было бандитское. А ворюга – клейма негде ставить. Жил он формально у Миши Победы, но на самом деле был свободным флибустьером и воровал одинаково во всех дворах Песочной улицы, не исключая и хозяйский. Особенно любил Сомоса молоденьких цыплят. На беду любил цыплят и Николай Игнатьевич Бухенко. К тому времени он заматерел, отрастил живот, а лысая без единого волоса, как яйцо, голова его, образуя могучий загривок, вращалась в широченные, что твои ворота, плечи. Ему еще усы подвесить – вылитый персонаж с бессмертной картины Репина!

Надо же было такому случиться, что Сомосасожрал двух цыплят у нашего героя. Все тайное становится рано или поздно явным, я всегда это говорил. На плотоядца донесли хозяину, и тот, разъярившись, кинулся на поиски разбойника. Кот лежал на поленнице, жмурил зеленые глаза, поглядывая на проносящихся мимо ласточек, и мечтал, наверное, о крыльях, чтобы ловить добычу не только на земле, но и в воздушном пространстве тоже. Он не обратил ни какого внимания на крадущегося к нему человека – ну, идет и идет, мало ли их тут праздно шатается и мышей не ловит! Бухенко схватил кота в охапку и, не останавливаясь, понес к своему дому, громко сопя и приговаривая мало понятные Сомосе слова. Интонация, с которой они произносились, не предвещала ничего хорошего. Пожиратель птиц попытался вырваться из объятий потерпевшего, но у него ничего не вышло. И тогда он негромко и неуверенно мяукнул, выражая свое недовольство грубым обращением. Это был глас вопиющего в пустыне.

Возле дома Бухенко лежал огромный камень-валун. Как его сюда доставил хозяин, сказать не могу, потому что такую махину, как мне кажется, и на машине-то привезти было бы весьма затруднительно. Ухватив обомлевшего кота за задние лапы, Бухенко крутанул его над головой и со всего размаху ударил о камень. Сомоса дико заорал и, что было сил, вцепился когтями в руки своего убийцы. Кровь человека смешалась с кровью животного. «А-а, гад, ты так! — прошипел Бухенко, пытаясь оторвать от правой руки ослепленного болю кота. — Ну, гляди!». И снова удар о камень. И еще, и еще раз. «Будешь знать, сволочь!..» — в гневе цыплячий мститель все более терял над собой контроль.

Из окровавленной головы кота вытек глаз. Теперь борьба шла в молчании. Кот вырывался, как мог, спасая свою жизнь, человек старался, как мог, эту жизнь у него отнять. А вокруг уже собирались зеваки. Двое или трое мальчишек, затаив дыхание, глядели на происходящее, старуха Олимпиада откуда-то выползла, и тоже тут оказалась, стояла и причитала тихо. Миша Победа что-то кричал, размахивая костылем, но разъяренный Бухенко его не слышал, снова и снова он бил извивающегося, от хвоста до головы покрытого кровью кота о камень, а тот лоскутами рвал кожу на волосатых руках обидчика. Тут как раз и я подошел поближе — выяснить, что за шум, и навести порядок.

«Колька-то Бухенко с ума сбрендил, — прошамкала Олимпиада. — Животную убиват!». Я оглядел поле битвы.

Сомоса обмяк, тело его казалось безжизненным, но убийца, не помня себя, все закидывал кота за плечо и с каким-то утробным рыком швырял на камень. Кровь брызгами летела во все стороны. Из всех присутствующих при этом, так сказать, жертвоприношении, только один человек сохранял спокойствие. Этим человеком, как вы понимаете, был я. Мне не раз доводилось видеть людей в состоянии аффекта, например, Леву, который кидался на санитаров после очередного контакта с НЛЮ. Но куда щупломуконтактеру до богатыря Бухенко! Медлить было нельзя.

В это время одержимый духом злобы котоубийца вдруг бросил свою жертву на землю и обвел нас налитыми кровью глазами. «Что уставились?» — прохрипел он, вытирая разорванным рукавом рубашки красное лицо. А мне откуда-то издалека послышался мальчишеский голос, звенящий от напряжения: «Глядите, слабаки!», и я произвольно сделал шаг навстречу карателю.

Оказалось, что Сомоса еще жив. Вздрагивая, окровавленное тело делало конвульсивные попытки отползти от места казни. Палач это заметил и, взревев, снова схватил кота за задние ноги. Камень, видимо, по каким-то причинам перестал его удовлетворять, и он метнулся к столбу. Удара обетонный подпасок я не видел, но услышал, как что-то хрупнуло. Это раскололся череп бедняги Сомосы. Смею вас уверить, я не хотел ничего делать, даже и в мыслях не было — ноги сами меня понесли, и я, подскочив к «психу» сзади, обхватил его руками, словно взял в клещи. Он дернулся и повернул голову — в глазах

было пусто и темно. «Ты еще, придурок!» — рывкнул он и вырвался из моих объятий. Я упал на траву. Рядом мокро шлепнулось безжизненное тело Сомосы. Едва не бегом, весь перепачканный кровью, будто барана резал, живодер скрылся за оградой своего дома.

При падении я потерял сознание и немного стряхнул с места мозги, поэтому меня положили в больницу. Вскоре туда привезли Леву, моего старого приятеля. Он грустил по Гималаям и вслушивался в молчание махатм, глядя на хрустальный шарик, который раскачивал перед собой на шнурке чуть ниже пупка. Это не предвещало ничего хорошего, как я догадался без всякого ченнелинга.

Так прошло две недели. Когда я выписался, то узнал, что на воротах бухенковского дома кто-то под покровом ночи написал углем большими буквами слово «фашист», я не знаю, кто бы это мог быть. Мальчишки похоронили черного флибустьера со всеми почестями на берегу залива под плакучей ивой. Я ходил посмотреть на могилку. Колышек на холмике с перекладной, навроде креста, и фанерная дощечка к нему проволокой прикручена, на ней увеличительным стеклом корявые выжжены буквы: «Кот Сомоса».

Скоро сказка сказывается, да не скоро жизнь идет. Хотя, как поглядеть. Заметил я одну особенность: день тянется долго, а год пролетает быстро. Только высадишь весной под окном георгины, а уж пора их на зиму в подполье убирать. Только снег на Покров выпал, а уж тает на Благовещенье. Да-а... Бухенко долго со мной не разговаривал, а почему — не знаю. Я-то тут при чем?

Не успел позабыться этот случай, как новая напасть приключилась с бедолагой. Тут уж он себя во всей красе показал. Маманя моя, Царство ей Небесное, сказала бы: «Смолоду прореха, к старости — дыра». Истинно так.

Наталья, жена Николая, как я уже говорил, была когда-то красавицей. Да она и сейчас, конечно, красива, а в молодости-то — и слов нет для описания, одна коса через плечо, как у царевны из сказки, только рыжая, чего стоила! Посмотрит, бывало, да улыбнется, так инеем и покроешься. Да. Все мальчишки в школе, помню, глядя на нее, слюни пускали. Кроме меня, разумеется. Как она за Кольку вышла, ума не приложу. Дружила Наталья с нашим комсомольским секретарем Пашей Вихловым, парень он был хоть куда, и все думали, что они поженятся. Только Пашу забрали в армию, а Наталья его не до-

ждалась – за Бухенко выскочила, он уж к тому времени вернулся с заработков домой.

Если есть в этой истории какая-то тайна для горожан, то для меня –нету. Но открывать ее раньше срока – не в моих правилах, сами знаете.

Отслужив в армии, Паша остался где-то на Дальнем Востоке строить Байкало-Амурскую магистраль – комсомолец, что тут скажешь! И было бы куда лучше, если бы он строил ее до сих пор. Так нет – построил-построил да и вернулся спустя четверть века в родные пенаты. Теперь все знают, что та магистраль оказалась никому не нужна, но и Паша оказался здесь никому не нужен. Свою обиду на мир он выражал традиционным способом – пил, как у нас говорят, не просыхая. Бывший секретарь, по всей вероятности, навывк этому делу еще в диких степях Забайкалья, ну а дома, известно, и стены помогают.

Кошкин – городок, как вы сами теперь знаете, небольшой. Тут все про всех знают и на дню не раз встречаются. Вот и Паша –нет-нет да и встретится с Натальей, то у магазина, то в аптеке, куда экс-секретарь, как и все местные алканавты, заходил покупать дешевый спирт от Брынцалова, то просто посреди улицы. Встретятся да перемолвятся парой слов, чай, знакомые, как-никак, а от знакомого человека морду-то не станешь воротить, пусть он и пьяница последний – у нас так не принято. Что ж тут особенного – постоит, поговорят да и разойдутся. Паша, само собой, иногда у Натальи стрельнет червончик на боярышник, чтоб, значит, усталое сердце не остановилось. И она его пожалеет, даст десятку, скажет только, дескать, ты бы, Павлик, не пил. Не буду, ответит он и пойдет в аптеку за малым пузыречком. Дело в общем житейское, но, согласитесь, и повод для досужих предположений. На каждый роток не накинешь платок, как говаривала моя матушка Нина Петровна, Царство ей Небесное. Пошли разговоры, мол, не слишком ли часто Пашка, из дальних странствий возвратясь, с Натальей встречается? Или старая любовь-то и впрямь не ржавеет?

Дошли слухи и до мужа. Он затаил, как я понимаю, подозрение и стал приглядывать за женой. А ревности только дай волю, она уж нарисует картину!

Ревнивец убеждает всякий вздор,

Как доводы Священного Писанья.

Люблю Шекспира! У него всегда ясно, кто есть кто, а в жизни – поди разберись! Ну, что могло быть между Пашей и красавицей Натальей? Так нет же, выдумали. И этот, Отелло хренов, взял, да и принял все за чистую монету. Поглядел бы внимательней на Пашу-то. По два месяца, а то и больше на стакане сидит. Герой-любовник! Воистину ревность не только маврам глаза застилает, но и хохлам тоже!

Однажды после смены, а работал Бухенко литейщиком, как и большинство мужиков в нашем городе, на судоремонтном заводе, все зашли в забегаловку выпить пива. Это мне Петрович, сосед, рассказывал. Стоят, значит, пьют свои законные пару кружек, и Бухенко пьет, он пиво любил, на спор, бывало, выпивал до десяти кружек за три часа – время специально засекали. Вдруг откуда ни возьмись Паша материализовался – угостите, дескать, пивком бывшего вожака молодежи, потерявшего здоровье на строительстве магистрали века. Мужики его завсегда угощали, жалели беднягу. А тут у Бухенко злоба-то вся наружу и вышла: вали, говорит, отсюда, алкаш несчастный. Паша усмехнулся да неожиданно и сказал, что Бухенко у него вечный должник и за Наталью ему до смерти не расплатиться. У того лысина стала малиновой. Он схватил щуплого Пашу за грудки, приподнял над полом и, наверно, сломал бы ему позвоночник о пивную стойку, но тут пришли на помощь мужики, отбили Пашу и выпроводили из заведения, а Отелло нашего едва уgomонили дополнительной парой «Окского».

Такие вот страсти-мордасти. И не где-то там в областном центре или в столице нашей родины, не на Кипре каком-нибудь, а здесь, у нас, в Кошкине. Я как человек пытливого ума решил поинтересоваться на досуге, а что же написано в мировой литературе о страстях? Библиотека у нас небогатая, в фонде все больше детективы да фантастика, но в последнее время, по словам заведующей, появились кое-какие серьезные книги. Сходил я, выбрал на полке «Религия. Мистика. Свободомыслие» по наитию творения Игнатия Брянчанинова и не ошибся. Не все понятно, конечно, но главное я ухватил и утвердился в правильности своих умозаключений о природе человека, которые излагал выше.

Пока я изучал литературу, события развивались своим чередом. Уже видели Наталью с фингалом под глазом. Дескать, упала, да соседей не проведешь, все поняли, что это муженек-ревнивец ее учил уму-разуму, кому давать на опохмелку. Наталья все терпела, она вообще после замужества сильно изменилась – поникла как-то и замкнулась, а ведь была в девчонках-то боевая, я помню! Может, оттого, что детей у них с Николаем не было? Не знаю. Паша по-прежнему нигде не работал, пропивал помаленьку имущество, оставшееся от родителей да стрелял червонцы у знакомых.

В тот злосчастный день я сидел на скамейке возле своего дома и читал газету «Светлый путь», в которой по обыкновению ничего интересного не было. Именно по этой причине я всегда читаю местную прессу весьма пристрастно. Над головой у меня едва слышно шелестела молоденькая листва. Пахло черемухой, и солнце так ласково пригревало землю, как изредка лишь бывает в середине мая. Неожиданно из-за поворота с улицы Маяковского вывернул почти трезвый Паша. Он подсел ко мне и закурил. Какое-то время мы молчали, а потом Паша спросил, не знаю ли я, дома ли Наталья ... и, помедлив, добавил – Бухенко. Я отогнал газетой плывущий на меня дым от его сигареты и ответил, мол, откуда мне знать. Паша согласно покачал головой и сказал, что хочет отдать должок – занимал на «это дело», он слегка прихлопнул пальцами по горлу, а я понимающе кивнул.

Я подумал, что Николая сейчас нет дома и Паше не надо бы ходить к Наталье, мало ли что соседи скажут, но он уже встал и, насвистывая какую-то знакомую песенку, вот только я не мог вспомнить, какую, пошел по улице, обходя не просохшие еще лужи. Мне нужно было копать землю под грядки, но я почувствовал неладное и решил подождать. Не все люди обладают шестым чувством, а я, смею вас уверить, обладаю им с детства. Оно-то и подсказывало мне, что приближается трагедия. Я сильно заволновался, но не знал, в чем она выразится и как ее предотвратить.

Не прошло и десяти минут после Пашиного ухода, как из-за того же поворота с улицы Маяковского выехал на велосипеде Николай Бухенко. Он промчался мимо меня, не здороваясь. Тут я понял, что шестое чувство меня не обмануло. Нужно было что-то делать. Я в таких случаях не раздумываю, а, полагаясь на свою интуицию, реши-

тельно действую. Оставив газету на скамейке, я медленно, словно прогуливаясь, пошел следом за велосипедистом.

Не зря говорят, промедление смерти подобно. Надо было бежать бегом за Бухенко или лечь под колеса велосипеда, короче говоря, любым способом не допустить его домой, а я не спешил, что было роковой ошибкой, так как предотвратить беду мне не удалось. Никогда я не допускал подобных промахов и вот – на тебе! Но – по порядку.

Велосипед валялся у камня, на котором когда-то принимал мученическую кончину похититель цыплят Сомоса. Тут же недалеко, у калитки, лежал без чувств лицом вниз бывший Натальин кавалер безобидный алкоголик Паша. Я взял его за руку и почувствовал слабое биение пульса – значит, живой, и тут из раскрытого окна дома Бухенко раздался женский крик. Крик был слабый, но я услышал его и, забыв про опасность, ринулся в дом.

Не помню, как я пробежал крыльцо и сени. Сознание включилось от удара лбом о косяк двери, ведущей из кухни в комнату — будто лампочка вспыхнула. В комнате было тихо, и эта тишина словно парализовала меня — я остановился на пороге. Открывшаяся моему взору картина была достойна пера Шекспира, смею вас уверить. На полу у широкой кровати полусидела, привалившись спиной к стене, белая, как новая простыня, Наталья. Она прижимала обе руки к горлу, а из-под пальцев выбивалась тугая струя крови. Брызги летели на белоснежный кружевной подзор на кровати и расплывались на нем алыми пятнами.

Я перевел взгляд. Бухенко, наклонив голову, стоял возле стола перед зеркалом. Правая рука его бессильно свисала вдоль тела, в ней была зажата опасная бритва, перепачканная кровью. Теперь все бредется безопасными бритвами или электрическими, и я резонно подумал, откуда она у Бухенко?.. Мое отражение в зеркале качнулось, и мне на мгновение показалось, будто я теряю сознание, но тут убийца произнес тихо: «А-а, это ты!..» И я, словно со стороны, услышал свой голос: «Ты что наделал-то, Николай?..» Он усмехнулся: «Все теперь... Зовимилицию».

Чувствуя приступы тошноты, на ватных ногах я вышел из дома. Паша пришел в себя. Он сидел у забора и мотал из стороны в сторону головой. Мне потребовалось сверхусилие, чтобы произнести два

слова: «Врача. Милицию». Оглушенный алкоголем и бухенковским кулаком Паша хлопал непонимающе глазами, а сознание уже покидало меня – начинался припадок. Черные мушки все плотнее заслоняли свет, я успел еще удивиться, какой здоровый фонарь поставил Паше Бухенко, и тут липа, а с ней камень и прислоненный к нему велосипед стали подниматься кверху, а небо поплыло вниз.

Опять угодил я в больницу. Контактер Лева был искренне рад. Заговорщицки кивнув мне при встрече, он дождался ночи и, выбросив желтые шарики аминазина в унитаз, рассказал, что с ним произошло.

Семя космического разума, так долго и упорно всеваемое в благодатную почву обитателями Шамбалы, наконец, дало всходы. В Лева открылись необыкновенные способности: Лонго и Гробовой могли теперь отдыхать на штрафной скамье. Эка невидаль оживлять мертвецов! Лева пошел дальше — он взялся оживить памятник Дзержинскому.

Воскресным днем, когда на пятиугольной площади особенно многолюдно, контактер приступил к уникальному эксперименту. Успех был обеспечен, смею вас уверить, но помешала ворона, усевшаяся прямо на обнаженную голову легендарного Феликса, причем, уселась она хвостом к Лева, а значит, и к публике. Это несколько смутило новоявленного чудотворца, и он крикнул два раза: «Кыш! Кыш!». Окрик не спугнул наглую птицу, но рассмешил народ. Всем известно, что смех в серьезном деле является помехой. Понимая это, экстрасенс поспешил приступить к задуманному. Мелким шагом, на цыпочках, он пошел вокруг памятника, выкрикивая бессмысленные слова заклинаний. Милиционер, охранявший «одноруких бандитов», насторожился. Где-то на шоссе громко выстрелила крышкабольшегруза.

Невооруженным глазом можно было видеть, как в воздухе сгущается энергия. Площадь замерла. Даже младенцы в колясках перестали сосать пустышки. Из рук наркомана Гриши, спрятавшегося за мини-магазином, выпал шприц, наполненный дурью. Казалось, еще немного и пламенный революционер разорвет бронзовые оковы, сойдет с пьедестала и покажет всем кузькину мать. Еще немного, еще чуть-чуть!.. Некоторые рассказывали потом, что будто бы слышали, как задрезбужали у подножия памятника алюминиевые банки из-под джин-тоники. Напряжение достигло предела. Шаги экспериментатора

становились все быстрее, он почти бежал, размахивая руками, и в голосе его звенел металл. И вот настал момент истины. Завершив очередной круг, Лева крикнул во весь голос: «Восстань!», и тут ворона неожиданно сорвалась-такис головы Феликса и, развернувшись, полетела прочь, по пути нагадив Лева на новый пиджак, надетый по случаю торжества. Лева возвел очи к небу и воззвал к космическому разуму. Небо не заставило себя ждать и отозвалось грудным голосом сирены скорой помощи. Когда подкатила машина, астральное тело несчастного мага было далеко от материального, и потому он сдался на милость санитаров без всякого сопротивления.

Рассказывая мне эту историю, страдалец волновался, но, как оказалось, не потерял надежды продолжить эксперимент. На ухо он прошептал мне, что в кабинете главврача есть гипсовый бюст Ленина, скрытый от постороннего глаза драпировочной тканью. Признаюсь: я одобрил смелую задумку. А что, подумал я, Ильичу в нашей больнице плохо не покажется. Не Горки, конечно, но все же... А уж главврач-то, член компартии с доисторических времен, как рад будет пообщаться с вождем!

По выписке из больницы я узнал, что Наталья осталась жива, только голова у нее теперь смотрела не прямо, а в сторону. Николая Бухенко посадили на пять лет строгого режима, а Паша бесследно исчез из города. Вот, казалось бы, и все. Но точку ставить рано, потому что теперь я могу рассказать, что за тайна связывала этих трех людей.

В те незапамятные времена, когда мы были молодыми и чушь прекрасную несли, комсомольский секретарь Паша приезжал из армии в краткосрочный отпуск. Три дня – это, действительно, мало, но ребеночка Наталье он успел сделать. О том, что Наталья беременна, в городе не знал никто, кроме ее родителей. Когда сообщили доблестному воину Паше, что его ждет, он решил в Кошкин по дембелю не возвращаться. Наталья, конечно, сильно переживала предательство возлюбленного, в результате чего случились преждевременные роды, и она родила мертвого ребенка. О Паше не было ни слуху ни духу, а тут удалой старшина Бухенко вернулся с флота, и вскоре Наталья вышла за него замуж. Остальное вы знаете.

Только не спрашивайте, откуда мне известны такие интимные подробности, все равно не скажу – обещал хранить тайну, а я, как всем известно, человек слова. Еже писах, писах – и все тут!

ТАРЗАН

1

— Эта буква... — румяный крепыш, небольшого роста, с наголо стриженной круглой головой и оттопыренными ушами завел глаза в потолок. — Эта буква...

Наступило молчание. Зоя Петровна терпеливо ждала. Девчонки тянули руки вверх, демонстрируя свои глубокие познания в области русского алфавита. Мальчишки фыркали в рукава.

— Ну, Вова, вспоминай. Эта буква... — указка замерла на букве «ш».

Класс едва сдерживал смех. Стоящий у парты Вовка по прозвищу Тарзан сделал страдальческое лицо. Он так напрягал мозги, что, казалось, вот-вот раздастся скрип, но шестерни внутри его черепной коробки отказывались двигаться, и название буквы не всплывало в памяти.

— Эта буква... — в третий раз сделал он попытку определить загадочный знак, напоминавший ему вилы, когда с задней парты истомившийся второгодник Ряшкин не выдержал и почти в полный голос произнес:

— Шэ!

— Шэ! — как эхо, с облегчением, повторил Тарзан и сразу же вспомнил упрямую букву. — Эта буква «шэ»! — радостно назвал он ее еще раз, испытывая при этом такой восторг, какого не испытывали, пожалуй, и Мефодий с Кириллом, когда изобрели для славян алфавит.

Класс дружно засмеялся.

— Тихо! — строго посмотрела на учеников Зоя Петровна и обратилась к второгоднику Ряшкину:

— А ты, Ряшкин, у нас, видимо, отличник? За два года в первом классе алфавит выучил. Молодец!

Ряшкин покраснел и от волнения дернул за косичку сидящую впереди Стрелкову. Та развернулась и ударила обидчика букварем по голове.

— Кому-то погулять в коридоре захотелось? — повисила голос учительница. — Это можно устроить.

Стало тихо. Зоя Петровна продолжала:

— Что ж, Вова, вспомнил букву?

Счастливым Тарзан кивнул лопухой головой.

— Вот и не забывай ее. А назови-ка теперь другую, — указка учительницы побежала по плакату вверх и остановилась на букве «з».

— Эту помнишь?

Вовка тяжело вздохнул, и лицо его омрачилось работой мысли. Кожа на покато лобике собралась в морщины.

— Эта буква...

Все началось сначала, как в сказке про белого бычка.

Тарзаном диковатого мальчишку, пришедшего в поселковую школу из лесной деревни, прозвали взрослые, и так к нему это прозвище прилепилось, что, казалось, он с ним родился. Вся жизнь Тарзана до начала мучения, которое окружающие называли учением, была проста и понятна. Такой жизнью в деревне жили все. Вовка без труда управлялся с лошадью, даже запрягать умел, помогал матери по хозяйству, а отцу пасти деревенское стадо, стрелял по воронам из рогатки, лазил по деревьям и зорил гнезда. В житейских делах был на удивление смекалист. Правда, говорить начал поздно и как-то не особенно вразумительно. Зато быстро бегал, высоко прыгал, хорошо умел драться, причем, в драку лез по поводу и без повода; зверея, до слез, до крови, до иступления работал руками, ногами, головой. Его мозги были устроены очень конкретно. Учеба к конкретным вещам не относилась. Тут они давали сбой. Знала, конечно, Зоя Петровна, знала, что не виноват мальчишка, дитя вечно пьяных родителей, в том, что не может запомнить и половины из тридцати двух букв алфавита. Знала, да что делать? Хотя бы читать-писать научить!

Три года просидел Тарзан в первом классе. Алфавит он победил и даже научился считать до ста, правда, арифметические действия дались ему только в пределах десятка, но к большему Вовка и не стремился. И тут как раз открыли в поселке районную школу-интернат для детей с задержкой психического развития – ЗПР. Набралось таких по окрестным деревням и селам немало. И что бы там ни говорила советская психиатрия, а в народе тут же грубо и несправедливо назвали новую школу «домом дураков», короче – дурдомом, и дети, кого перевели туда из обычной школы, и без того-то обиженные, с особой силой почувствовали свою неполноценность. Только не Вовка Тарзан. Ему было абсолютно все равно, где и чему учиться – он

воспринимал школу, как объективную необходимость, своего рода крест, который нужно нести, и Вовка, как мученик системы обязательного образования, нес его до поры безропотно и смиренно. Пока он был еще мал, чтобы догадаться: в школу-то можно вообще не ходить! И никто не заплачет. И с милицией не придет. Это открытие ожидало его в недалеком будущем, в последнюю осень пребывания в интернате, когда Тарзан прославился. Случилось же вот что.

Рядом с интернатом, забор в забор, стоял полуразрушенный Крестовоздвиженский собор, построенный в память победы в Отечественной войне 1812-го года набожными предками местных жителей, которые отличались не только религиозностью, но и патриотизмом. Столетие спустя их потомки, увлеченные несбыточной мечтой о коммунистическом веке Астреи, встали на материалистические позиции; укрепляясь на них и повышая свой культурный уровень, они как-то незаметно для себя потеряли не только совесть, но и память, и, следуя уже сложившейся в стране традиции, превратили собор в клуб. Разумеется, некоторые несознательные жители, одурманенные опиумом для народа, оскверненный храм посещать перестали, но большинство-то было трезвых, сознательных, они ничего – ходили, к культуре приобщались, кроме того, выросло уже новое поколение, не верившее ни в Бога, ни в утопию о светлом будущем. Юным безбожникам было до лампочки, где смотреть кино и лапать девок на танцах под гармошку. От собора, надо сказать, мало что и осталось. Только колокольня возвышалась над низкорослыми поселковыми строениями и, устремляясь в небо, служила немим укором и напоминанием о другой жизни.

Понятно, что так не могло продолжаться бесконечно – обломки той, «другой» жизни мешали строить новую, а то, что мешает, надо, как известно, удалять, как зуб, который не подлежит лечению. Послевоенные годы отошли в небытие, Гагарин полетел в космос, что стало, кроме всего прочего, веским атеистическим аргументом, научное мировоззрение окончательно взяло верх над религиозным, и Хрущев объявил, что скоро все увидят последнего попа. Жители поселка, все без исключения – и сознательные и несознательные – сразу стали относиться к местному священнику с особым сочувствием и жалостью, наивно полагая, что вот он-то для них и будет последним из могикан.

За словом у нас всегда следует дело. Ретивые исполнители пошли крушить все, что еще оставалось из культовых сооружений. Не избежала, разумеется, predetermined ей участи и бедная колокольня. Она одна и оставалась в поселке, остальное было уже разрушено предшественниками, и это стройное белокаменное чудо со звонницей, где еще висел и много лет молчал многопудовый колокол, стало находкой для местных властей, этих жрецов новой жизни, вождевших не столько самого разрушения, сколько отчета о нем в вышестоящие инстанции. Был еще, правда, молитвенный дом — в определенном смысле, Ноев ковчег для несознательных, один на всю округу. Но что за радость его разрушать — дунь посильнее и сам развалится. К тому же трогать сей анахронизм не велело районное начальство из конституционных соображений, иначе какая же свобода совести? А еще, скажем по секрету, и само районное начальство через подставных старушек здесь крестило своих отпрысков — чай, не басурмане, хоть и атеисты. Таким образом, выбора не оставалось — колокольня.

Акт вандализма готовили со всей тщательностью. Вдохновителем, организатором и исполнителем выступила местная партячейка, возглавлять которую был недавно избран сам председатель поселкового совета, бывший партизан Рудольф Порфирьевич Балабанов. Рудольф Порфирьевич родился в рубашке и потому имел много наград и ни одного ранения. Отсутствие каких-либо организаторских способностей и личной инициативы позволяло безбоязненно выдвигать его на руководящие должности. Должностей, правда, было немного, но надежных кадров и того меньше, так что Рудольфу Порфирьевичу дел хватало.

Взрывчатки у жителей поселка в наличии не обнаружилось, а может, они из скромности не признались. Даже браконьер Елшин, бывший на фронте сапером в мостовой роте отдельного железнодорожного батальона, и тот пребывал в гордом молчании, несмотря на письменное заявление соседки о том, что он хранит в подполье фаустпатрон. Откуда малограмотная соседка узнала о существовании гранатомета с таким, прямо скажем, нерусским названием, осталось в тайне. В сложившейся ситуации свалить колокольню было решено дедовским методом, в основе которого лежал закон термодинамики. Знание, как известно, — сила. Партийцы покумекали и пришли к за-

ключению, что если снизу колокольню разогреть, а верх останется холодным, она непременно рухнет по причине разницы температур. Учитель физики Иван Никифорович Власенко, высленец с Западной Украины, выпив и закусив выпитое плавленым сырком, подтвердил, что, скорее всего, так оно и будет.

Бывший сапер Елшин, вот уж почти двадцать лет пускавший во сне под откос вражеские эшелоны, резонно напомнил о правилах техники безопасности. С трех сторон, в одну из которых, по расчетам местных проектировщиков, могла рухнуть колокольня, пространство огородили красной бечевкой и для верности у каждого колышка поставили человека, чтобы зорко следил – не зайдет ли кто из любопытных сограждан, ставших жертвами пропаганды, за черту. Если же кто зайдет – гнать того нарушителя в шею, а то, не приведи Господь, зашибет каменная махина при падении. На постах у колышков встали школьные учителя во главе с директором. А с территории интерната постановили всех удалить на безопасное расстояние – и работников, и уж тем более учеников. Увели даже старого мерина Орлика и оставили щипать траву на лужайке под присмотром поварахи.

Наконец все приготовления были закончены. По злой иронии назначенный день разрушения – 27 сентября – совпал с престольным праздником собора – Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Но местные власти об этом не подумали, проявив политическую близорукость, а старенький, запуганный до заикания отец Александр, настоятель молитвенного дома, не напомнил. О чем впоследствии искренне пожалел.

Перед колокольней, на пустыре, называемом центральной площадью, одиноко стояла облезлая деревянная трибуна, с которой дважды в году на митингах, посвященных великим советским праздникам 1 Мая и 7 Ноября, произносились представителями властей и тружеников пламенные речи к народу. Народ слушал речи, проникался моментом, нестройно кричал «ура!» и расходился по домам пить водку и петь песни. К этой-то трибуне народ потянулся и сейчас. Пока что он стоял и безмолвствовал, как повелось у нас со времен Бориса Годунова, а может, и раньше.

День был ясный, солнечный и холодный. Ветер трепал выгоревшие добела флаги над крыльцом поселкового совета. На верхней ступеньке лежала беспризорная собака по кличке Буян. Время от вре-

мени она приподнимала вислоухую голову, удивленно глядела на толпу и глухо ворчала. Наконец на площади началось движение. Из ворот школы-интерната вышла нестройная колонна учеников, построенных парами. Во главе ее шагал директор Николай Васильевич Зуев, безрукий фронтовик. Левый, пустой рукав его пиджака был заправлен в карман, правая рука давала отмашку, будто он шел парадным шагом по Красной площади, держа равнение на мавзолей. Колонна прошествовала мимо трибуны в парк, где предполагалось переждать опасность. Тем временем, улизнувший от эвакуации Тарзан сидел на заборе и наблюдал, как мужики выкладывают вокруг белых стен колокольни высокие поленницы из дров.

— Чё это вы делаете, мужики? — крикнул с забора Тарзан. Те не ответили, и это еще больше заинтриговало Вовку. Он спрыгнул с забора и подошел ближе.

— Дядь Вань, — обратился Вовка к безногому киномеханику, который стоял тут же и курил «Прибой».

— Ничего хорошего не будет, — мрачно ответил киномеханик через зажатую в зубах папиросу. — Шел бы ты отсюда, в самом деле.

Он был хмур и неразговорчив, потому что именно ему поручили разводить огонь под колокольней. На роль поджигателя претендовал алчущий разрушения сапер Елшин, но ему такое ответственное дело не доверили из-за его нескончаемой борьбы с зеленым змием. Киномеханик же Иван, потерявший на фронте ногу и награжденный медалью «За отвагу», коммунист и трезвенник, подходил по всем статьям. Ивану слава Герострата была ни к чему, и поэтому он злился на весь мир в лице поселковой парторганизации, оказавшей ему такую честь.

— А дрова зачем? — не унимался Тарзан.

— Отстань! — отмахнулся дядя Ваня. — Колокольню ронять будем.

— Зачем?

Вовкин вопрос остался без ответа, потому что из-за поленницы появился председатель совета Балабанов, худой серый человек при галстукке и с орденскими планками на груди. Все суетились. Время курить и время тушить окурки. Дядя Ваня бросил свой окурочек и затоптал его деревянной ногой.

На дрова вылили два бидона керосину, и председатель поссовета, прижимая к боку папку с бумагами, которую для солидности вечно носил с собой, распорядился:

— Все – к трибуне. Чтобы тут у меня ни души! А ты, Иван, — кивнул он киномеханику, — подпалишь и туда же. Всем все понятно?

Мужики закивали головами и стали расходиться. Возле колокольни остался дядя Ваня и спрятавшийся за грудой битого кирпича Тарзан. Когда все ушли, он выбрался из укрытия.

Не желая зажигаться, спички ломались в заскорузлых пальцах киномеханика.

— Дядь Вань, — обратился к нему Вовка, — дай я подожду?

Дядя Ваня от неожиданности вздрогнул.

— Ты что, дурачок несчастный! Ты... как здесь? А ну, пошел, ёп-понский городской, отсюда!

— У тебя вон спички ломаются, дай я! — настаивал Тарзан.

— Я те щас дам! Догоню да добавлю!

— А я не уйду! — Вовка отскочил в сторону. — Чё ты мне сделаешь?

Дядя Ваня понял, что с больным на голову пацаном договориться не удастся. И догнать его не получится – куда, на деревянной-то ноге?

— Ладно, — пошел он на компромисс. — Зажигай. А потом вместе уйдем. Слышишь?

— Ага, — обрадовался Тарзан. — Давай спички.

Когда Вовка подошел ближе, дядя Ваня протянул ему одной рукой коробок, а другой крепко ухватил за воротник:

— Действуй, шпана беспризорная!

А в это время на площади происходило следующее. Ограждение опасной территории заканчивалось как раз около тропинки, протоптанной прихожанами из поселка к молитвенному дому, что стоял за пустырем под горкой. По этой-то тропинке и потянулись после праздничной обедни по домам верующие. Видя скопление сознательного народа на площади, а также огороженную территорию колокольни и суетящихся там мужиков, богомольцы тоже стали пополнять толпу, любопытствуя, что, дескать, тут происходит.

Набравшись информации, остальные граждане стали роптать и высказывать вслух свое несознательное недовольство.

— Изверги! — крикнула из толпы старуха Красильникова.

— Чем вам колокольня-то помешала? — поддержал ее неизвестный.

Председателю Балабанову пришлось взобраться на трибуну и объяснить народу политический момент. Говорил он долго и непонятно. Но невнимательно слушавшие его люди все поняли. Когда оратор закончил, кто-то громко в наступившей тишине произнес:

— Прости им Господи, ибо не ведают, что творят!

Голос был женский, но кому он принадлежал, определить не удалось. Следом за этими словами и как бы в подтверждение их радостно и торжественно по причине престольного праздника зазвонил под горой колокол. Глаза всех собравшихся вольно или невольно обратились на единственно подходящий к такому случаю объект — колокольню. Некоторые стали осенять себя крестным знаменем, а кто-то и шептать слова молитвы. И в этот момент под колокольной вспыхнул невеликий огонек, и откуда-то взявшийся там мальчишка поднес его к поленнице, которая сразу же занялась пламенем. «У-у-ух!» — единодушно выдохнули собравшиеся. От огромного костра отделились и быстро пошли к площади двое — во взрослом, припадавшем на деревянную ногу, все тут же узнали Ивана-киномеханика, а во втором, маленьком поджигателе, — небезызвестного Вовку Тарзана.

Когда парочка подошла ближе, стало заметно, что дядя Ваня цепко держит мальчишку за плечо.

— Откуда? — задохнулся председатель поссовета, хватая киномеханика за грудки. — Как он там оказался?

Дядя Ваня снял председательские руки с лацканов своего пиджака и спокойно произнес:

— А я знаю?

Тут из толпы выскочил взволнованный директор интерната Зуев и ухватил своей единственной, и потому, наверное, удивительно сильной рукой притихшего Вовку.

— Быстро в парк! — скомандовал он.

Тарзана как ветром сдуло.

Языки пламени лизали белые стены колокольни, поднимаясь все выше и выше. В тишине было слышно, как потрескивают дрова. Народ угрюмо молчал. Так прошло с полчаса. Наконец, перепад тем-

ператур достиг, видимо, необходимого предела: колокольня вздрогнула, чуть осела и повалилась, как и предсказывали, на огражденный бечевкой участок. Молчаливая толпа отступила назад и загудела. От удара земля содрогнулась, и снова наступила тишина. Рухнувшая колокольня лежала на траве, словно целая, только основание, ощерившееся красным кирпичом, было кроваво-рваным, да в звоннице переломился деревянный брус, и колокол, ударившись о землю, отскочил назад и упал в двух метрах, войдя краем глубоко в почву.

— Вот это кладка, однако! — неровным голосом произнес в тишине проигравший очередную битву со змием обиженный сапер Елшин.

И все как-то завздыхали, заговорили, потянулись по домам, а участники акции по приказу вспотевшего председателя стали закатывать колокол на деревянный настил, на котором должен был его потащить к пожарной вышке специально позаимствованный в соседнем колхозе Владимирский тяжеловоз. Могучий конь стоял поодаль и в предчувствии привычной работы обмахивался рыжим хвостом.

Все вышло, как задумали, без сучка, без задоринки. Не испортили мероприятия и отдельные выкрики несознательных жителей. Да что с них возьмешь – религиозный туман в голове! Отцу же Александру поставили на вид, чтобы впредь предупреждал о праздниках. С испугу он стал это делать слишком часто, что весьма раздражало председателя поссовета, и тот, в конце концов, отменил указание. А Тарзана долго еще после тех событий называли поджигателем. Он не обижался и был даже горд. Еще бы! Не всякий с таким делом справится. Это вам не мыльные пузыри из соломинки пускать.

Шел третий и последний год Вовкиной учебы в интернате. Он научился читать вывески на магазинах, а также и немного писать. Конечно, абстрактное мышление у него отсутствовало, зато присутствовало во всей полноте мышление конкретное. Он не был лидером, но чрезвычайно упрямый характер позволял ему всегда оставаться самим по себе. Ну, а если кто-либо пытался хоть как-то ограничить его свободу или настоять на своем, Тарзан, набычившись, выдвигал вперед нижнюю челюсть и принимал позу боксера. С драчливым подростком, который ломающимся голосом так матерился, что хоть уши затыкай, и всегда готов был за себя постоять, старались не связываться ни товарищи, ни учителя. Авторитетом для него был один директор

интерната да еще, пожалуй, киномеханик дядя Ваня. С последним Вовка сдружился, и дядя Ваня даже пускал Тарзана в кинобудку и показывал, как крутится пленка в киноаппарате «Украина».

Вовкины родители продолжали ставить брагу и гнать из нее мутный вонючий самогон, который

Тарзану после первой пробы не понравился, и он больше не прикасался к популярному напитку. Курил в открытую, не стесняясь учителей. Да еще пристрастился играть с поселковыми мальчишками в свару. Эта игра большого ума не требовала, но требовала денег, которых у Тарзана не было. Он вычищал рваные карманы родителей, но там редко что обреталось, как говорится, в правом кармане – вошь на аркане, в левом кармане – блоха на цепи, собирал пустые бутылки, воровал у соседей с заборов стеклянные банки, сдавал их в магазин и таким образом набирал кое-какую мелочь, чтобы поставить в кругу на кон.

Обманывали его нещадно. На первый взгляд, свара – игра для дураков, но стоит немного понаблюдать, как становится ясно, что и тут выигрывает тот, кто обладает выдержкой, вниманием, хорошей памятью и знанием психологии противника. Такими качествами Вовка не обладал. Если в его картах оказывалось три туза, он радостно открывал их и без игры забирал с кона копейки, хотя, будь на его месте игрок с головой, при трех-то тузах у многих выпотрошил бы кошельки. Когда же, напротив, приходила мелкая карта, Вовка, громко сопя и морща лоб, считал очки и, убедившись, что их мало, без всякой психологии бросал карты. Ну, кто ж так играет в свару! Через десять-пятнадцать минут деньги у него кончались, и ребята постарше вытаскивали проигравшегося из круга:

— Иди-иди, Тарзан, в долг не играем!

Опустив голову, стоял Вовка рядом с игроками, и слезы наворачивались ему на глаза. Он отправлялся на поиски бутылок и, если находил хотя бы четвертинку, тщательно отмывал ее на колонке и летел, счастливый, в магазин, а потом, зажав в кулаке девять копеек, – в парк, где в укромном месте собирались «сварщики». И все повторялось.

Ранней весной, как только побежали веселые ручьи вдоль улиц, а над парком закричали вернувшиеся с юга грачи, свободная воля Тарзана взыграла, а терпение лопнуло, и он перестал ходить в

школу. Директор, выдержав положенную паузу, посетил Вовкиных родителей, которые по случаю праздника Пасхи были в особенно приподнятом настроении, а по-русски говоря, лыка не вязали, и Николай Васильевич понял, что с учеником по фамилии Прытков школа-интернат распростилась навсегда.

Учителя, они же воспитатели, всего числом три, поговорили за обедом о психическом развитии подростков и, в основном, об особенностях задержки этого самого психического развития. Вот, скажем, Тарзан – дебил он или все-таки уже имбицил? В конце обеда эрудированные учителя согласились, что их бывший ученик обладал кроме ярко выраженного конкретного мышления и некоторыми признаками мышления логического и даже в какой-то мере абстрактного, и, несмотря на то, что признаки эти находились в зачаточном состоянии, Тарзан, без сомнения, дебил, а вот сосед его по парте, вечно слюнявый Гена Забродин, который за три года научился считать до шестнадцати, тот уж точно имбицил. Третьей категории, неподдающихся обучению идиотов, в интернате не было. После обеда учителя разошлись по делам и навсегда забыли дебила-поджигателя, а Вовкины одноклассники, куря за сараем бычки, позавидовали обретшему свободу Тарзану, а потом тоже забыли. Се ля ви, как говорил прошагавший пол-Европы и потерявший ногу под Берлином просвещенный киномеханик дядя Ваня.

2

А у Вовки началась вольная жизнь, к которой он был расположен от рождения. В этой жизни не было мучительных уроков, непонятных обязанностей, учителей, директора Зуева и безногого киномеханика. В ней вообще людей было очень мало. Да и лучше оно как-то без людей, чего от них толку?

Вскоре зазеленели луга, и деревенское стадо пошло на выпас. Вовкин отец, несколько очухавшись от весеннего воздуха и мутного самогона, как всегда подрядился пасти, и Тарзан, надев на шею барабанку, взялся за привычное дело. Он давно научился управляться со стадом – с ленивыми коровами и кучкующимися в тени деревьев овцами забот было не много, а вот козы, те да, ужасно строптивые и блудливые твари, они требовали максимума внимания – того и гляди,

клевер чей-то потравят или забредут куда – замучишься искать. Тут уж без крепкого мата и длинной плети не обойтись. Согнав поутру стадо, Вовка с отцом гнали его Долгой балкой к лесу. Солнце поднималось все выше, и по мере его движения пустела отцова бутылка. Загасив «козью ножку», папаша, наконец, укладывался в тенечке на траву, предварительно наставив сына:

— Гляди!

Он безмятежно спал до обеда, бормоча во сне матерные слова и пуская слюни. Скотина щипала сочные травы, набираясь сил и наполняя вымя молоком, а Тарзан курил отцову махорку и наблюдал природу. Вот муравьи бегают по своим тропам, таская хвоинки для постройки дома, вот медленно, пригибая травинку, ползет божья коровка, вотпо небу плывет облако, похожее на огромную белую собаку...

— Куда, вашу мать! — орал хриплым недетским голосом Тарзан на устремившихся на ржаное поле коз и оглушительно хлопал своей тяжелой десятиметровой плетью.

В обед они гнали стадо на стойло – в небольшую березовую рошу рядом с деревней. Туда приходили бабы доить коров и приносили по очереди еду пастухам. Вовка с отцом ели, сидя на траве под старой березой, и отец уходил в деревню, чтобы там из запасов наполнить мутной жидкостью свою опустевшую бутылку. Однажды в августе он так и умер, не доев похлебку – с ложкой в руках, захрипел и повалился. Что ж, в конце концов, умереть тоже не плохо, повторил дядя Ваня на поминках, сам того не зная, слова Эйнштейна. Отца схоронили на поселковом кладбище, и Тарзан стал пасти один.

Ему нравилась эта работа. С утра он бодро стучал на барабанке, вызывая со дворов скотину, которая радостно шла на призывный звук, а также на сиплый мат повзрослевшего Тарзана. Днем стадо паслось в перелесках и по оврагам, а к вечеру возвращалось в деревню. Коровы двигались медленно, неся полное вымя молока, овцы держались вместе и громко блеяли, а козы, по обыкновению, разбредались в стороны, но и они, несмотря на свою строптивую натуру, слушались молодого пастуха. В июльскую жару и октябрьский холод, в ясную погоду и в проливной дождь Тарзан не оставлял свое стадо ни на минуту. Даже когда в лесочке у большака сходились вместе три стада – поселковое, Вовкино и еще одно из соседней деревни – а пас-

тухи, полеживая в тени на травке, мирно выпивали или играли в свару на щелбаны, Вовка зорко приглядывал за своими подопечными, и если они нарушали дисциплину, сорванным голосом, в котором слышались ласка и забота, материл их, а если это не действовало, брался за плеть. Сей аргумент работал безотказно – как всегда.

Надо сказать, что плетью Тарзан владел виртуозно. Поставят, бывало, на пенек пустую бутылку из-под «фруктовки», Вовка отмерит десять шагов, закинет ловким движением плеть за спину, прижмурит левый глаз и коротким резким движением руки пошлет ременной конец плети к цели. Раздается сухой оглушительный звук, и бутылка падает с пенька без горлышка. Не всем пастухам такое удавалось с первого раза. А у некоторых так и хлопок-то путем не получался – вяло выходило и тускло. Не то у Вовки. В лесу плеть щелкнет – в поселке слышно. Но если бы кто знал, сколько времени и сил тратил он на тренировки! Иногда по двадцать раз подряд, а то и больше, хлопал Тарзан тяжелой плетью, аж рука немела в предплечье. Он любовно шлифовал рукоятку плети, в тугую косичку заплетал ременной конец. Зато и слушалось его пастушье оружие, как слушается всякого мастера положенный ему инструмент. И вот, может быть, это самое искусство владения плетью спасло однажды стадо от гибели.

На Ильин день всегда бывает гроза. Не нами заведено, не нами управляется, а значит, так, однако, надо. И в тот год на Илью-пророка после обеда разломило небо молнией и пошло-поехало. Такой грозы старики – и те не помнили. Чернильно-черная туча, как надвинулась из-за леса, так, несмотря на ураганный ветер, поднявший на дорогах столбы пыли, и висела неподвижно часа три, закрывая небо, а с ним и белый свет. То полтучи озарялось вспышкой, то ветвились в ней огненные стрелы, потом на мгновение все темнело, и раздавался такой трескучий гром, как будто тысяча пастухов ударили разом своими плетями. И в придачу ко всему хлынул дождь, да не струями, а сплошной стеной, словно обрушился на землю. В общем, свето-представление.

Часа полтора Вовка терпел в надежде, что гроза утихнет. Сидел в шалаше на опушке леса, вырезал ножиком на рукоятке плети разные узоры, тихонько матерился, когда вспыхивала над верхушками деревьев молния и прокатывался по небу громовой раскат. Скотина пряталась в густом ельнике, жалась, словно ища защиты, друг к

дружке. Тарзан ничего не боялся, но гроза была слишком сильной, а в сильную грозу любому человеку, даже если он задержался немного в психическом развитии, становится неуютно. Инстинк самосохранения начинает нашептывать ему разные неприятные слова. «А ну как ша-рахнет эта молонья в корову, — шептал Вовкин инстинкт. — Ведь и убить может!». Тут Тарзану вспомнился камень посередь поля за Тяткиным лесом. Камень был огромных размеров, а надпись на нем гласила, что на этом месте ровно сто лет назад были убиты молнией двое. И имена-отчества с фамилиями были на том камне вырезаны. Вот так. Вовка послушался его, вылез из шалаша и погнал притихшее стадо в деревню.

А в деревне произошло между тем следующее. Недалеко от Тарзанова дома, у колодца, стоял серебристый тополь-гигант, в три обхвата, не меньше. Сто лет ему, наверное, было. Может, и не сто — тополя долго не живут, как и люди. Хотя, почему? Вон Августа Васильевна в крайнем доме — девяносто шестой год доживает и помирать не собирается. А чего ей помирать-то, пусть живет себе сколько положено. Так и тополь. Мужики давно примеривались его спилить, да все руки не доходили — как выпьют самогонки, так и начинают обсуждать, каким образом надо пилить эту «ефеливу башню», а то, не приведи Бог, свалится — дома порушит, а потом, на трезвую голову, опять забудут про должника. Вот и дождались. Порывом ветра обломило на дереве-богатыре толстенный сук. Падая, он оборвал проходящие снизу электропровода и повалил колодезный журавль прямо на сруб, а провода выскользнув из сплетения веток, угодили в огромную лужу на дороге. Что-то затрещало, забурлило и на поверхности лужи еще яростнее затанцевали пузыри, шипя и лопаясь. Дорога вдоль деревни стала смертельно опасной.

В грозу, понятно, народ сидел по домам; кое-кто из мужиков, конечно, выскочил на крыльцо, а остальные из окошек наблюдали за аварией. Бабы крестились, шепча забытые молитвы, прижимали к себе малых детей. И тут сквозь шум дождя и раскаты грома послышалась барабанка: данг-данг-дан-данг. Это Тарзан оповещал, что скотина возвращается домой.

Не успели опомниться, как стадо вошло в деревню. Впереди семенили овцы, они-то первые и наткнулись на оборванный провод. Упала одна, другая, идущие следом тыкались в упавших мордами и

тоже валились, как подкошенные. Вот уже и корова опрокинулась на спину, дергая в судорогах ногами.

— Куды?! Куды гонишь, Тарзан?! — закричал с крыльца бригадир Иван Макаров по прозвищу Малахай. — Вертай! — бригадир, не удержавшись, прыгнул под дождь и, забыв про опасность, побежал по улице, размахивая руками. — Вертай обратно, твою мать!

А Тарзан уже несся ему навстречу. Засвистела и захлопала плеть. Вспышка молнии высветила сумраке фигуру Тарзана, похожего в плащ-палатке на солдата из какого-то кинофильма про войну. Он раз за разом вскидывал руку, посылая тлеть туда, где в груди ветвей пряталась смерть. Как из ружья стрелял. Только чуть затихнет гром, как слышатся выстрелы Тарзановой плети. Удар! Еще удар! Протяжно замычали коровы, где-то на конце деревни завывала собака. Стадо повернуло назад.

Когда гроза кончилась, посчитали: током убило шесть овец и покалечило две коровы. Поголовье коз не пострадало. Могло быть значительно хуже. Но не зря же говорят: нет худа без добра. Так и тут — спилили, наконец, тополь, один пень остался, не меньше метра в диаметре. Чем не стол? Мужики наладились на нем забивать в домино да выпивать по праздникам.

3

Через четыре года после смерти отца Вовка схоронил мать. Ему было семнадцать лет, и он не представлял, как будет жить один. Оказалось, ничего, жить можно. Он бессменно пас стадо, деревенские бабы кормили пастуха, как полагается, а старуха Софья, приходившаяся Тарзану дальней родственницей, иногда убиралась в доме, который без женской руки как-то особенно скоро пришел в запустение. Откуда только брался мусор, углы затягивала паутина, то тут, то там валялись раздавленные окурки, а на столе, на табуретках, на шестке — где можно приткнуться — стояла немытая посуда, стаканы, по полу катались две-три пустые бутылки из-под жигулевского пива. Софья наводила порядок: все мыла, чистила, расставляла по местам, открывала окна, чтобы пустить в дом свежий воздух. По субботам Вовка

пригонял скотину пораньше, топил баню, парился березовым веником, мылся да кое-что стирал по мелочи, крупную стирку Софья брала с собой. И всех делов-то!

К спиртному он не проявлял интереса, посмотрелся, видать, на родителей. Выпивать выпивал, но редко и в основном употреблял «бормотуху», крепких напитков не уважал и остерегался их – голова болела. Родительский самогонный аппарат вытащил аккуратно из подполья, где он был спрятан от недоброжелателей, и во всеоружии сдал соседу Егорычу за толстый обрезок резины и пару хвостов сыромятной кожи, из которых думал смастерить новую плетль.

Зимой, правда, было скучно. Но Тарзан наловчился плести корзины из тальника, и сидел, пока светло, трудился по примеру апостола Павла, о котором, разумеется, и слыхом не слыхивал. Корзины у Вовки получались ладные; их за милую душу покупали и в деревне, и в поселке. Он и рад – тоже навар, как-никак, на курево да на «красненькое» заработаешь, а о харчах ни у какого пастуха заботы нету – с осени, как выпас закончится, ему все хозяева скотины по уговору принесут – и картошки, и всяких там овощей-фруктов.

Вечером, когда за морозными стеклами посвистывала вьюга, Тарзан затапливал печь, открывал дверцу, глядел, не мигая, на огонь. Мысли были медленными, тягучими, как загустевший деготь в бочонке на конном дворе, которым смазывали оси в колесах колхозных телег. И дым от самокрутки висел в воздухе такой же тяжелый и вязкий. Махорка потрескивала, рассыпала по полу красные искры. Невидимые в темноте громко стучали ходики. Печка истопится, тут и спать пора. Скотину не держал – хлопот с ней не оберешься. После матери остался в доме своенравный кот Барсик, с ними беседовал, бывало, когда поговорить захочется. Не часто и хотелось-то.

По самые крыши заносило в феврале деревню снегом. Грести снег Вовка любил. Бывало, целый день машет деревянной лопатой, откидывает с дороги снежные завалы. А с неба все сыплет и сыплет. За ночь навалит – не проехать, не пройти. И опять Тарзан лопатой орудует. Силы-то у него не меряно. Посидит на корточках, покурит и – давай, весь красный, от рожи хоть прикуруивай, как в деревне говорят.

Полтора километра до поселка Тарзану ходить было лень. Без хлеба, конечно, не проживешь, хошь не хошь, а тащись в магазин, а

если бы не магазин – чего там делать? Правда, раз в неделю в новом клубе, возведенном на руинах собора, колокольню которого Вовка когда-то поджигал, показывали кино, а после были танцы под радиолу. Вовка сходил туда раз-другой, выпил с парнями в подвале самогонки, поглядел, как топчутся по заплеванному полу пары и понял, что ему это без интересу. Парни хоть выпьют да подружек лапают, а он стеснялся, хоть и подзуживали его поселковые, дескать, все девки на тебя, Вовка, глядят, чё теряисси? Нет уж, ну их к лешему, хохочут да глазами туда-сюда бегают, а после детей рожают.

Как-то раз в начале лета в лесочке за Долгой балкой пастух из соседней деревни Коля Блоха научил Тарзана, как решать половую проблему самостоятельно, после чего инстинкт продления рода угомонился. Страшная участь, постигшая во время оно библейского пастуха, может статься, и послужила бы назиданием Блохе и его ученикам, но они про нее ничего не знали. Незнание, говорят, не освобождает от ответственности. Но это уже область юриспруденции, темный лес, одним словом.

Так счастливо и беззаботно Вовка прожил пять лет. И вот как-то в мае хлопотливая Софья, седьмая вода на киселе, сосватала ему невесту – Галю-дурочку. Жила Галя с родителями в соседней деревне за оврагом и дурочкой в прямом смысле, пожалуй, не была. А была, как в деревне говорили, «маненько тово». После менингита и не «маненько» бывает. Слава Богу, не умерла девчонка, головой только малость повредилась. Тарзан, озабоченный приближающимся выпасом, на известие новоявленной свахи о будущей жене отреагировал так:

— А на кой она мне нужна?

На что Софья, собрав губы в кружок, резонно ответила:

— Вот помру скоро, тогда узнашь, на кой!

Она и впрямь померла скоро, в том же году перед Троицыным днем. Но это потом будет, а пока старуха развернула двухстороннюю агитацию, соседи ее поддержали, родители Гали-дурочки рады были сплавить дочку хоть за кого, а непьющий Тарзан – партия, как никак, что надо, опять же – два сапога пара. Короче говоря, не успел Вовка опомниться, как в доме у него появилась жена.

— Ну, Вовка, — говорил Тарзану подвыпивший на свадьбе кинемеханик дядя Ваня. — Ну, Вовка, держись. Была у тебя жизнь, как мед, а теперь будет – каторга!

Ошибся безногий психолог. В отечественном и даже в зарубежном кинематографе он, возможно, был дока, но в семейной жизни – профан. Потому что за основу брал личный опыт, а из личного опыта, как известно, никаких объективных выводов не сделаешь. Тем паще из такого кратковременного, каковой имел дядя Ваня. Пытку, называемую в народе совместной жизнью с существом настолько сварливым и злым, что словами и не скажешь, он терпел в течение семи лет, а потом, чтоб не взять на себя грех против шестой заповеди, согрешил против седьмой и ушел жить ко вдове Валентине, за что едва не лишился партийного билета, но учли все-таки товарищи по оружию его всевозможные заслуги и ограничились строгим выговором с занесением в учетную карточку. Так что далеко было кинемеханику до объективности.

Вовке же медом жизнь и раньше не казалась, не показалась после женитьбы и каторгой.

Да, собственно, и не изменилось ничего. Кровать только поменяли на более широкую, да в бане было кому спину потереть. А в остальном все осталось по-прежнему. С утра до вечера Тарзан гонял по лугам стадо, валялся, опершись на локоть, в траве, смотрел на животных, на облака, плывущие по небу, на журчащий в камнях ручеек. В это время Тарзан любил весь мир. Утром и вечером его кормила жена, а обед приносили на стойло деревенские бабы. Они подшучивали над Вовкой, интересовались, как ему живется с молодой.

— Живем не хуже других, — серьезно отвечал Тарзан, облизывая деревянную, расписанную в Хохломе ложку.

Бабы перемигивались.

— А Тарзаненок когда будет? — спрашивала отчаянная Танька, жена Егорыча.

— Когда рак на горе свистнет, тогда и будет!

Бабы в белых, завязанных под затылком косынках и ситцевых платьях с короткими рукавами, сидели возле коров, вытянув спины, перебрасывались словами, а руки их между тем неустанно двигались. Тишина кругом, какая бывает только в июльский полдень, когда и листок на березе не шелохнется, и сам воздух, напоенный ароматами полевых трав и парного молока, кажется слюдяным. Слышно, как гудит над цветком шмель и струйки молока ударяют о стенки подойников. Да какая-нибудь из коров вдруг хлестанет себя по тугому боку хво-

стом, отгоняя надоедливых злых слепней. Сквозь густые кроны деревьев просвечивает солнце, яркими пятнами ложась на штопанную скотиной землю.

— Ладно, бабы, — продолжала неугомонная Танька. — Чай, он не знат, как детей-то делают!

Над стойлом покатился хохот

— А, Вовка, может, ты научить?

Тарзан тоже смеялся.

— Пойдем-ка вон в рошу, я ты сам научу! — говорил он, уплетая за обе щеки принесенную по очереди Танькой похлебку.

Как делают детей, они с Галей знали, и вскоре жена объявила Тарзану, что беременна.

— Чё теперь делать? — растерялся он.

— Как, чё делать — ребенка ждуть! — ответила счастливая Галя.

— Ну да, — сказал Тарзан и стал молча точить оселком косу.

Галя пошла в поселковую больницу к акушерке, вернулась расстроенная. Она рассказала Вовке, что в больнице ей ничего толком не объяснили, но сказали, что рожать нельзя, будто закон какой-то есть, запрещающий рожать.

— Какой еще закон? — возмутился Тарзан. — Все, значит, рожают без закона, а нам нате, пожалуйста, — закон!

Уткнувшись лицом в занавеску, Галя ревела. Тарзан помолчал некоторое время, потом сказал:

— Может, и есть такой закон, не знаю. Только плевать я на него хотел. И ты наплюй.

— А как жа...

— А так. Наплюй и все. Че, ты милиция заставит аборт делать? Пускай попробуют. Вон у меня вилы стоят — заходите, гости дорогие!

Никто, конечно, не зашел! Все девять месяцев Галя побаивалась страшного закона, но Вовка ее страхи прогонял, гордясь своей смелостью, показывал на вилы и всем в деревне объяснял, что нету такого закона, чтобы детей не рожать. Мужики соглашались — конечно, нет, и быть не должно. Мнения баб разделились. Одни поддерживали таинственное постановление травительства, запрещающее якобы роды, если оба родителя «маненько тово». Ну, посудите сами, говорили они, кого родят два дурака? Нельзя им рожать! А другие воз-

ражали: кто видел это самое постановление? Может, есть оно, а может, и нету. И кто, дескать, заставит насильно аборт делать?

— В городе, оно конечно, могут заставить, — говорила Егорычева жена Танька, родившая уже четверых детей. — А у нас хоть от козла рожай – всем наплевать! Каки-таки законы!

Были еще и третьи, которые заявляли, что не такие уж Вовка с Галей и дураки. Чай, живые люди, и им деток хочется. Пускай плодятся да радуются. Поддержали Тарзана и Галины родители – рожай, сказали, на все Божья: воля.

Так и вышло. В конце февраля у Гали начались схватки, и Тарзан отвез ее на колхозной лошади в районную больницу. Лошадь с трудом тащила тяжелые сани по рыхлому потемневшему снегу, а Вовка постегивал ее кнутом и успокаивал жену:

— Ничего-ничего, не бомсь, подруга! Все рожают, и ты родишь... Пошла, ну, пошла, окаянная!

Год был високосный, и Галя родила 29 февраля ровно в полдень мальчика ростом 52 сантиметра и весом четыре килограмма.

— Вот так Касьян родился! — сказала Танька, когда Тарзан с бутылкой к рукам вошел к ним во двор и объявил о рождении сына.

— Почему Касьян? — обиделся Вовка. — Своих касьянами называйте, а мой будет Андреем.

— Так это потому что 29-го Касьян именинник. Раз в четыре года.

— Не надо мне раз в четыре года, — гордо заявил Тарзан. — У меня каждый год именинник будет!

Мальчика назвали по желанию отца Андреем. Он был здоровым, без всяких отклонений, никакой задержки психического развития у него не оказалось. Напротив, он крепко обгонял своих сверстников в этом самом психическом и умственном развитии, все схватывал на лету – быстро научился читать, считать, а в первом классе поселковой школы он решал задачки за третий класс, как орехи щелкал. Тарзан гордился сыном, а Галя души в нем не чаяла. Надо сказать, болезнь ее после родов вроде как совсем пропала. Вот только не беременела больше, что Вовку огорчало, потому что он очень хотел еще и девочку – для равновесия.

Прошло десять лет. От корней спиленного тополя выросло новое дерево, оно создавало над потемневшим срезом старого пня уют-

ную тень. По-прежнему тут собирались деревенские мужики на посиделки. Они так и называли это место – «у тополя». Но теперь народ на улицу выходил реже – почти у всех были телевизоры.

Поздней осенью, когда с деревьев ветер срывает последние, не желтые уже, а какие-то блеклые, пожухлые листья, Тарзан умер от рака крови. Всю жизнь он ничем не болел, даже простуде не поддавался, а тут рак съел его за три месяца. Хоронили Вовку на поселковом кладбище, в родительской могиле. Народу прощаться пришлось немного, из поселковых только один сильно постаревший дядя Ваня. После поминок он пошел в клуб показывать кино «Гойя, или тяжкий путь познания» с Донатасом Банионисом в главной роли. Выпитые сто-двести грамм всегда пробуждали в нем склонность к философским обобщениям.

— Жил-был Тарзан – и нету, — говорил он сам с собой, закрепляя бобину с пленкой на новом кинопроекторе и кривясь от едкого дыма папиросы «Прибой». — Да-а... А зачем жил?.. Никто не знает, зачем люди живут?..

Может, все-таки, кто-то знает?

Андрей, Тарзанов сын, закончил школу с золотой медалью, а потом с красным дипломом физмат университета. Умный парень вырос, ничего не скажешь. Врачи только руками разводили, такое, говорят, бывает чрезвычайно редко, как исключение, один шанс из тысячи. Так и слава Богу, что бывает. А исключения для того и случаются, чтобы правила подтверждать. Ведь, однако, в чьих руках исключения-то? Естественно, что в руках того, кто правила устанавливает. По-другому и быть не может. Иначе, какой смысл в правилах? Никакого.

КОГДА КУРАНТЫ ПРОБИЛИ ПОЛНОЧЬ

На «Скорой» фельдшеру Анатолию Шмакову дали прозвище «Эритроцит». Фельдшер был маленький, круглый, с красным лицом и волосатыми короткими пальцами. На голове у него по затылку лепились остатки рыжеватых волос, а лысина была розовой и блестящей. Ну как еще такого можно назвать? Конечно, Эритроцит. Больше никак.

Специалистом Шмаков был плохим, точнее сказать, не был он вообще специалистом. Главное ведь в медицине что? Чувство ответственности. А оно-то как раз у Эритроцита, похоже, отсутствовало совершенно. Все ему было, как он сам любил выражаться, «до звезды». Шутили остроязыкие сестры, скрывать нечего, рифмовали даже: «Знает Толик зажим Кохера, а остальное ему ...». Да уж. В советское время такого не подпустили бы к «Скорой» на пушечный выстрел, но теперь работать на графике «сутки через двое» за нищенскую зарплату желающих было немного, а уж иголку старушенции или закумаренному наркуше и Эритроцит мог воткнуть. Попадал в вену пусть не с первого раза, но все-таки ведь попадал же. Тем более, если трезвый. А так как он на дежурстве много пить себе не позволял, заведующая районной станцией «Скорой помощи» Надежда Ивановна при остром дефиците кадров вынуждена была ему доверять, и старший фельдшер Зоя Васильевна, вздыхая, давала «зелёный свет» линейной бригаде, состоящей из Шмакова и медицинской сестры Ниночки, которая умела измерять давление, делать уколы и жутко боялась ночных вызовов в частный сектор.

Утром того злополучного дня, 31 декабря, когда Эритроцит заступил на суточное дежурство, шел густой снег, и водитель «Скорой помощи» Сергеич, хмурый и недовольный тем, что Новый год придется встречать в полевых условиях, ругал погоду и пинал колёса новой, но уже повидавшей виды «Газели». А Шмакову было еще хуже, потому что вчера он выпил с друзьями лишнего, и теперь у него раскалывалась голова, а до утренней конференции, которую проводили заведованием и старший фельдшер, похмеляться он не решался – вычислят в два счета, проверят дыхалку на алкоголь вместе с водителями, как иногда бывало, еще с работы попрут и тогда куда ему с дипломом фельдшера? Как говорится, в родной колхоз сторожем.

— Что, Толик, — с ехидной усмешкой сказал ему врач реанимационной бригады Лёня Остапенко, всегда безошибочно определявший у сотрудников похмельный синдром. — Ливер трясётся? Шмаков пожал плечами и стал вытирать платком вспотевшую лысину.

— Новый год, коллега, раньше срока не встречают, — с поддельным сочувствием в голосе произнес язва-реаниматолог. — Это всегда чревато последствиями!

Эритроциту очень хотелось отбрить молодого да раннего врача, сказать ему хотя бы: «Учи ученого!», или еще что-нибудь такое дерзкое, но с похмелья он не способен был ни на какие волевые проявления и соображал туго, а потому молча прошел мимо.

— «Алкозельцер», коллега, только «Алкозельцер»! — крикнул ему вслед Остапенко. — Веселье без похмелья!

«Посмотрим, как ты завтра петь будешь!» — подумал мстительно фельдшер и громко высморкался, выражая таким образом свое полное презрение ко всем трезвым медикам мира.

На конференции задерживаться не стали: рассмотрели два повторных вызова, заведующая поставила задачи на день, призвав к бдительности в канун праздника, привычно посетовала на нехватку кадров, в результате которой две бригады – кардиологическая и реанимационная – выезжали на дежурство в неполном составе, и все разошлись по своим местам. Теперь можно! Страждущий фельдшер уединился в мужской туалет и слегка поправил здоровье разведенным спиртом. Когда после этой приятной процедуры, вдохновленный ста граммами, Эритроцит, бодро жуя пластинку «Дирола», вошел в фельдшерскую комнату, жизнь уже не казалась ему кошмаром. И даже все трезвые медики мира были ему до звезды. Прилепив жвачку к нижним альвеолам, он фальшиво мурлыкал себе под нос песенку Вини-Пуха, приспособленную к ситуации:

*Кто ходит в гости по утрам,
Тот поступает мудро:
То тут сто грамм, то там сто грамм –
На то оно и утро!*

Ну, не повезло. Ну, дежурство на Новый год выпало. Ну, голова болит. Хотя – стоп – уже, кажется, и не болит. Не унывай, Толян, друг сердечный. Есть еще порох в пороховницах! Что характерно — жизнь продолжается! Усевшись в кресло, он стал слушать, как Остапенко рассказывает Ниночке анекдот, а та, безнадежно в него влюбленная и потому только, наверное, и работавшая на «Скорой», звонко хохотала.

— Так вот, — бархатным голосом говорил, поглаживая запорожские усы, объект Ниночкиных вздыханий, — подходит этот анестезиолог к больному, лежащему на операционном столе, и спрашивает: «Вы какой наркоз предпочитаете — наш или импортный?» Больной оказался патриотом. «Наш», — говорит. «Хорошо, — отвечает анестезиолог, — пожалуйста, — и запел: — бай-бай-бай, глазки закрывай!». Ниночка опять засмеялась, прикрывая рот розовой ладошкой.

Шмаков хмыкнул.

— Ага-а! — с пониманием сказал ловелас Остапенко, пристально посмотрев на фельдшера. Но того уже было не смутить – теперь он мог смело глядеть в глаза любой опасности, а уж худенький врач в дымчатых очечках и опасности-то никакой не представлял. Эритроцит, прищурясь, смотрел на доктора и не отводил взгляда. Вскоре диспетчер объявил реанимации вызов, и бригада Остапенко укатила по адресу. Линейной бригаде тоже недолго пришлось ждать своей очереди. В карте вызова значилось: «Молодой мужчина без сознания, на тротуаре, звонил прохожий». Шмаков вздохнул. Ясное дело. С уверенностью можно сказать: наркоман или алкоголик. Сергеич хмуρο рулил по заснеженным улицам города. Метель усиливалась, и видимость становилась всё хуже. Шмаков смотрел в окно, молчал, равнодушно наблюдая, как прохожие торопятся домой с покупками, кто-то с запозданием несет елку — обычная предпраздничная суета. Хотелось еще выпить, но он держался, решив, что позволит себе – и то самую малость – после вызова. Он стал думать о доме, о том, что там тоже готовятся к Новому году, который жена, теща и дочь встретят без него. Теща как всегда сделает селёдку «под шубой», которую он давно тихо ненавидит, а жена испечет резиновый торт.

Выпьют по фужеру шампанского да по рюмке мартини и будут смотреть до утра бестолковые, пошлые концерты, время от времени

переключаясь на другой канал, где все те же артисты поют всё те же песни только в другой последовательности. Каждый год одно и то же. Ладно. Его бутылка «Гжелки» никуда не денется. Вернется — выпьет под солёный грибок. Шмаков проглотил слюну. Вот и приехали. Пациент — молодой человек в спортивном костюме и кроссовках лежал около скамейки. Рядом стояли несколько прохожих, в основном женщины.

— Это я звонил! — кинулся навстречу медикам старик в старомодном пальто с каракулевым воротником. — Вижу — лежит. И не пьяный, кажется. Надо, думаю, в «Скорую» звонить, — он говорил и говорил без умолку. — Ведь можно элементарно замерзнуть. У него — ни пальто, ни шапки... Может, мертвый? Никаких признаков жизни. А вы что-то долго ехали?

— А вот это, что характерно, не ваше дело! — строго сказал Шмаков и взял лежащего человека за запястье. — Вы позвонили и идите себе домой. Гражданский долг ты, дедушка, выполнил. — Он приподнял парню голову и несколько раз несильно ударил его по щекам. Никакой реакции. — Тэк-с... Пульс слабый, но есть. Измерим давление.

— Вот как они разговаривают! — обиженно говорил между тем, обращаясь к окружающим, словоохотливый старик. — А еще врачи называются! В наше время врач такого себе позволить не мог, а теперь — анархия. Вместо того, чтобы... Но его никто не слушал, и он замолчал.

— Девяносто на пятьдесят, — пробормотал фельдшер. — Ну, это не показатель.

— Живой? — участливо спросила одна из стоящих рядом женщин.

— Живой.

Прохожие стали расходиться. Только старик топтался около скамейки и все старался заглянуть через плечо Ниночки.

— Идите домой, господин хороший! — повторил Эритроцит. — Вы мешаете работать медсестре.

Недовольно ворча, любопытный старик ушел.

— Опять наркоман? — вздохнула сестра.

— А то кто же? Сама видишь. Предкоматозное состояние. Ну, что? Делает «чихалку», а там разберемся. Хотя бы оклемается, бедолага.

«Чихалка» – чудодейственная смесь четырех компонентов: кофеина, кордиамина, хлористого кальция и глюкозы. Палочка-выручалочка «Скорой помощи» в современных условиях, когда новых лекарств, типа налаксона, мягко говоря, не хватает, а дело зачастую приходится иметь не только с пьяными до бесчувствия, но и наркоманами, которым до комы иногда остается четыре шага. Дело в том, что у таких пациентов парализуется дыхательный центр, они, как говорят на «Скорой», забывают дышать, и потому запросто могут отдать Богу душу. На внешние раздражители они уже не реагируют, и тут приходит на помощь знаменитая «чихалка». Эта кого угодно в чувство приведет. Хоть с того света – проверено.

Опорожнив четыре ампулы, сестра подняла к свету шприц и выпустила из иглы несколько капель жидкости. Шмаков тем временем осмотрел кожу на локтевом сгибе. Следов инъекций не было.

— Под язык, наверно, колется, — предположил он.

Нина пожала плечами.

— А вены, между прочим, хорошие, — сказала она, протирая спиртом кожу. — Может, «колёса» глотает?

— Коли, не разговаривай! — отмахнулся фельдшер.

Игла вошла в вену, и двадцать кубиков «чихалки» начали свой путь в кровь наркомана. Сестра молчала, разглядывала парня. Ему на вид можно было дать лет двадцать пять. Лицо даже симпатичное, вот только черные круги под глазами да бледность болезненная, а так – парень как парень, на наркомана не похож, хотя, кто их знает – бывают всякие...

Не прошло и минуты после укола, как из носа парня стали надуваться пузыри.

— Ну вот они, признаки жизни, — усмехнулся Шмаков. — И что характерно – сейчас чихать начнет.

— Апчхи! Апчхи! — парень чихал раз за разом, и, наконец, глаза его открылись, но пока еще ничего не видели.

— Кажется, очухался! — сказала Нина. — Эй, — она тряхнула наркомана за плечо, — молодой человек! Тебя как зовут? Слышишь? Как твоё имя?

Но как только парень пришел в себя и увидел людей в белых халатах, так сразу забормотал сквозь чихание что-то невразумительное и попытался подняться.

— В больницу поедешь? — спросил фельдшер, наклоняясь к нему, зная заранее, что никуда тот не поедет.

Парень, не переставая чихать, отрицательно покачал головой, кое-как встал на ноги и, покачиваясь, пошел к подъезду.

— Пиши в карте — убежал, — сказал Шмаков сестре.

Обычное дело, так они поступали всегда с подобными пациентами. А что с ними делать, не в больницу же, действительно, насильно везти? Да и толку-то от этого? Передав по рации о завершении вызова, бригада отправилась назад, на станцию. По пути Эритроцит, не стесняясь сестры, снова поправил больную голову, и настроение вернулось к нему.

— Ну что, Нинуль, — заговорил он игриво. — Новый год-то, наверно, с женихом хотела встретить?

— Конечно. У нас компания, а тут...

— А тут со мной придется, — засмеялся фельдшер. — Может, понравится?

— Не понравится, — отрезала Нина. — И ты здесь ни при чем!

— А кто — причем? Остапенко?

— Следите за языком, Анатолий Иванович! — сказала сестра и отвернулась к окну, и Шмакову показалось, что глаза у неё были на мокром месте.

«Ну, мне их заморочки до звезды, — подумал он. — Праздник и в Африке праздник!».

Бедный Эритроцит! Он и предположить не мог, как ему предстоит встретить нынешний Новый год! А если бы знал, то лучше бы не пил сегодня. Да и вчера тоже.

Если бы четырехлетнего Сережу Климова спросили, кого он любит больше всего на свете, он, не задумываясь, ответил бы: маму. А если бы то же самое спросили у его мамы Лены, она так же, не задумываясь, сказала бы: Сережу. Конечно, они оба еще любили папу Диму, но это было все-таки потом.

В этом году Серёжа вполне осознанно ждал праздника, и хотя он не помнил, как год назад к нему приходил Дед Мороз, тем не менее, ожидал его с нетерпением и к приходу таинственного старика готовился всерьёз. Даже стихотворение специально выучил про снежинку. Он рассказывал это стихотворение всем: маме, папе, бабушке с дедушкой, которые заходили посмотреть на ёлку в Серёжиной комнате. Ёлка была удивительная: высокая, стройная, пахла лесом и снегом, и по ней весело бегали маленькие разноцветные огоньки, а каждый шар, какого бы цвета ни был, смешно отражал предметы – стол, шведскую стенку, стеллаж с игрушками и книгами и даже Винни-Пуха с Пятачком, сидящих высоко на шкафу.

За разучивание стихотворения отвечал папа Дима. Он отнесся к поручению с ответственностью и каждый вечер, приходя с работы, садился с Серёжей под ёлку и приступал к репетиции.

— Ну, Ежик, — так звали Серёжу родные, — ну давай, читай свой стих.

Серёжа поднимал голову и, глядя на венчавшую ёлку звезду, громко и с выражением произносил:

*Белая узорная, звездочка-малютка!
Ты слети мне на руку, посиди минутку.*

Тут он протягивал руку, будто вот-вот на неё упадёт снежинка и продолжал:

*Покружилась звездочка в воздухе немножко,
Села и растаяла на моей ладошке!*

— Молодец! — хвалил папа. — Дед Мороз будет доволен.

— И подарит мне кран? — спрашивал мальчик.

— Конечно! Просто не имеет права не подарить!

Ложась спать, Серёжа представлял, как бородатый Дед Мороз, сняв с плеча свой мешок, достаёт из него долгожданный кран, без которого ну никак не построить дом для Винни и его друга Пятачка. Ждать оставалось недолго: каждый день на один день меньше. А вот уже и тридцать первое декабря – последний день года.

А утром у Сережи поднялась температура. Он капризничал за завтраком, не хотел играть с игрушками, даже свои любимые книжки слушал неохотно – был вообще вялый и неразговорчивый. И только напоминание о скором празднике немного улучшило его настроение. Когда все домашние средства мама Лена испробовала, и они не дали результата, она стала звонить в детскую поликлинику. Там долго не брали трубку. Наконец недовольный женский голос произнес:

— Вас слушают!

— Это детская поликлиника? — взволнованно спросила мама Лена, на что голос отозвался по-прежнему недовольно:

— А вы как думали?

Мама Лена долго и сбивчиво объясняла в трубку, что у её сына высокая температура, и она не спадает, что она хотела бы вызвать на дом врача. Трубка ответила, что сегодня предпраздничный день и врачей в поликлинике нет.

— А дежурный врач? — спросила мама. — Дежурного тоже нет?

— Дежурный есть, но он занят.

— Может быть, вы пригласите его к телефону, я всё объясню...

— Нет, — строго ответила трубка. — Звать я никого не буду. Я дам вам номер кабинета дежурного врача, звоните туда. Врач оказалась более сговорчивой и хотя не сразу, но согласилась прийти к больному Серёже. Мальчик стал ждать врача почти с тем же нетерпением, что и Деда Мороза.

Врач не пришла. Она даже не позвонила, а поручила сообщить об отказе дежурной в регистратуре. Тот же неласковый голос в трубке сказал маме Лене, что доктор уехала на более сложный вызов, а ей посоветовала, если уж ничего не помогает, обратиться в «Скорую помощь».

Пока ждали «Скорую» папа Дима пытался развлекать Серёжу, но это ему мало удавалось.

— Ёжик, а как ты стихотворение будешь Деду Морозу рассказывать?

Серёжа оживлялся, вдохновенно смотрел на звезду и, преодолевая вялость, читал:

— Белая узорная, звездочка-малютка... Папа, я хочу полежать, меня тошнит... Расскажи мне сказку...

В это самое время «газелька» Сергеича пробиралась сквозь снежные заносы к двухэтажному дому на Богом забытой улице в районе народной стройки. «Скорую» вызвала пожилая женщина шестидесяти восьми лет, жалуясь на боли в области сердца. Дом они с трудом нашли, но подъехать к опутанному газопроводными трубами подъезду Сергеич не сумел. Чертыхаясь, Эритроцит выбрался из машины и побрёл, утопая по колени в снегу, к покосившейся двери, над которой тускло и одиноко горела лампочка.

— А кардиограф? — крикнула ему вслед сестра. — Брать?

Эритроцит раздраженно махнул рукой.

— Не надо! Эка невидаль – грудь болит! Корвалолом напоишь, укол сделаешь и всё – успокоится бабуся!

Нина вздохнула. Кардиограмму положено было снимать у каждого пациента, жалующегося на боли в области сердца, и кардиографы недавно стали, наконец, выдавать всем бригадам, но мало кто из «линейщиков» пользовался ими, а уж Шмаков, так только в крайнем случае, если больной сильно настаивал. А чаще вызывал на себя кардибригаду — пускай спецы разбираются.

Дверь в квартире была полуоткрыта, и хозяйка встретила медиков на пороге.

— Вы «Скорую» вызывали? — хмуро спросил фельдшер.

— Я, доктор, я вызывала, — засуетилась женщина. — Проходите, пожалуйста.

— Больным надо в постели лежать, а не на площадке прогуливаться!

— Так я только... я вас встретить...

— Встретить! Лежать надо. Может, у вас инфаркт!

— Господи помилуй! — испугалась больная. — Да как же это?

— А вот так! — отрезал Эритроцит, открывая саквояж. — Где, говорите, болит? Давление мерили? Ну, так сейчас смеряем!

Голова у Шмакова продолжала болеть, и ей не помогали регулярные дозы, принимаемые фельдшером между вызовами. Хорошо бы отлежаться, отдохнуть в тишине, похмеляясь прохладным полусухим «Мерло» или «Каберне», а не бьющим по мозгам опилочным

спиртом. Где там! Диспетчерская служба посылала вызовы один за другим, причем, чем ближе к Новому году, тем они были чаще. После сердечницы в занесенном снегом доме на окраине города, от которой Эритроцит легко отделался измерением давления и двумя кубиками анальгина с димедролом, бригада отправилась к ребенку с высокой температурой. Этим ребенком был Сережа Климов. В три часа дня в квартиру Климовых позвонили. Пошла открывать приехавшая из-за болезни мальчика бабушка. На пороге стояли краснолицый фельдшер Шмаков и медсестра Ниночка с чемоданчиком в руках. Все обрадовались приезду доктора и засуетились. Эритроцит помыл руки, послушал малыша, посмотрел ему горло и сказал:

— Ничего опасного. Простудился мальчик. Давайте лекарство, побольше жидкости и всё пройдет.

— Вы знаете, — с беспокойством сказала мама Лена, — я с утра даю ему таблетки, чай с малиной и мёдом, а температура держится, даже растёт.

Шмаков с шумом вздохнул.

— Бывает, — сказал он. — Организм борется, это в порядке вещей. Сделаем мальчику укол, он поспит и к вечеру будет здоров. Нина, набирай «литичку».

Сестра, поглядывая на раскрасневшегося Серёжу, приготовила литическую смесь.

— Ну, — сказала она и улыбнулась. — Не боишься уколов?

Облизнув сухие губы, мальчик твердо ответил:

— Не боюсь!

— Вот и хорошо. Сейчас тебе станет легче, а потом придет Дед Мороз... Ты ждешь Деда Мороза?

— Да.

— Конечно. Все дети ждут Деда Мороза. Он приносит им подарки. Какой подарок ты ему заказал?

— Кран.

— Вот как? Кран – это правильно... Вот так! Ну что, не больно?

— Не больно.

— Молодец!

Но мама Лена всё же беспокоилась.

— Доктор, — сказала она, провожая Шмакова и Нину в прихожую, — а если малышу не станет лучше, я могу снова вас вызвать?

Эритроцит на мгновение замешкался у двери и ответил:

— Не желательно. Сами понимаете, Новый год, что характерно, даже и на «Скорую» приходит. Да вы не беспокойтесь, всё будет хорошо, я же ...

— А мы беспокоимся! — не дал ему договорить папа Дима.

— Тэк-с! — сказал Шмаков и посмотрел на Нину. — Вот что. Я оставлю вам лекарство... Э-э, умеет кто-нибудь делать уколы?

— Я смогу, если нужно, — неуверенно произнесла бабушка. — Не в вену?

— Нет, в мышцу. Если увидите, что температура снова поднимается, сделайте укол. Договорились? Вот три ампулы – аналгин, папаверин, димедрол – наберете их содержимое в шприц и кольнете. Так?

— Анатолий Иванович! — выразительно прошептала сестра, но Шмаков не обращал на неё никакого внимания.

— До свидания, — сказал он. — С наступающим! Ваш мальчик молодец, он не боится уколов. А может быть, и делать их не придётся.

Когда за фельдшером закрылась дверь, Нина, вздохнув, стала объяснять бабушке, какую дозу лекарств следует набирать в шприц.

— Одна десятая миллилитра на год жизни ребёнка. Вашему малышу четыре года, значит, четыре десятых. Каждого препарата. То есть, из первой, второй и третьей ампулы. Вот. Смотрите по делениям на шприце. Всего будет двенадцать делений. Запомните?

— Да-да, запомню, милая! — всхлипнула бабушка.

А Сережа лежал в кровати, засыпал. Мама Лена задернула шторы на окне и прикрыла дверь в комнату. В полумраке огоньки струились по еловым веткам, то быстро, то медленно. И ему приснился сон. Сережа, конечно, не знал, что это сон, он думал, что в действительности катается на пони по заснеженной аллее. Пони звали Рыжиком. Он встряхивал гривой и весело перебирал копытами, а иногда останавливался и долго стоял, о чем-то думая, и тогда его не могли сдвинуть с места ни понукания хозяина, ни окрики идущего рядом папы Димы.

«Рызык! Рызык, беги!» — ласково сказал лошадке Серёжа, и пони, конечно, услышал его и снова побежал вперёд, к зверинцу, где мальчика ждали любимые им разноцветные фазаны и мохнатая добрая лама, и лиса, и зайцы, которых он тоже любил. У ворот зверинца их встретил Дед Мороз и Снегурочка. Они очень обрадовались Серёже и попросили его рассказать стихотворение про снежинку, и Серёжа стал рассказывать, а снежинки падали с неба, и одна — белая и узорная — упала в его протянутую руку. Она лежала на ладони, пока он рассказывал стихотворение, а потом растаяла, и Серёже стало её очень жалко, и он заплакал во сне и проснулся в слезах и весь горячий.

— Что ты, что ты, Ёжик? — успокаивала его мама Лена, поглаживая по влажным волосам. — Тебе что-то приснилось?

— Она растаяла, потому что я такой горячий, — сказал мальчик.

— Кто?

— Снежинка, — он всхлипнул.

— Сейчас ты выпьешь лекарство, и жар пройдет.

За окнами стояла ночь, и снег валил густыми хлопьями. Около одиннадцати часов вечера Сергеич вырулил к подъезду бревенчатого старого дома, чудом сохранившегося среди многоэтажек. Вызов был от мужчины с ожогом. Дверь открыл сам пострадавший. Молодой еще мужчина, изрядно выпивший, в майке и спортивных штанах с лампасами, одна брючина закатана почти до паха. По голени и бедру растеклось ярко-розовое пятно.

«Вторая степень, — определил Шмаков. — Будьте любезны!».

В прокуренной квартире, тускло освещаемой единственной лампочкой в трехрожковой люстре, висящей в проходной комнате, кроме хозяина никого не наблюдалось. Он, прихрамывая, провел медиков на кухню. Здесь было совсем темно. Помещение освещалось синим огоньком газовой плиты, горящим под помятой алюминиевой кастрюлей. «Человек встречает Новый год!» — подумала Нина, идя за фельдшером и стараясь не касаться плохо различимой в потемках мебели. На кухонном столе, покрытом затертой клеенкой, одиноко стояла початая бутылка водки с ласковым названием «Отдохни».

— Ну? — вопросительно посмотрел на мужчину Шмаков. —
Что скажете?

Тот кивнул на газовую плиту.

— Вот... Такое дело. Суп варил.

Фельдшер с нескрываемой брезгливостью посмотрел на кипящую в кастрюле воду и перевел взгляд на ногу пациента.

— Из своей ноги, что ли? — съязвил он.

— Почему – из ноги? — обиделся мужчина. — Из пакета хотел сварить. Гороховый. Ну и это... ошпарился, значит.

— Тэк-с, посмотрим... Это, что ли, твой ожог?.. Ладно, давай тебя уколем. Нина, «литичку».

— Волшебный укольчик? — игриво спросил пострадавший и подмигнул.

— Чего?

— Ну, это... Сами понимаете. Шмаков скосил глаза на бутылку водки и ухмыльнулся.

— Сейчас, обрадовался! Вон у тебя волшебная вода стоит – пей на здоровье. — Праздник ведь, как-никак...

— Вот именно. А ты «Скорую» по пустякам беспокоишь. Мы, между прочим, тоже люди. И что характерно – тоже хотим праздник встретить.

— Так, это, может, того...

— Чего — того? — уже более мягко спросил Шмаков.

— По сто грамм ради светлого праздника.

Эритроцит оглянулся на Нину и кашлянул.

— Нина, — сказал он, — открой ампулу новокаина, надо смазать ожог... Хотя я сам сделаю, иди в машину.

Сестра поджала губы, хотела что-то сказать, но не сказала. Поставив на стол ампулу, вышла из квартиры. Шмаков подождал, пока стихнут её шаги, и сказал:

— Ладно, мы все же мужики, так ведь?

Хозяин кивнул:

— Ну.

— Ну так наливай!

Через пять минут Эритроцит забрался в машину в прекрасном расположении духа и включил рацию:

— Центральная? — бодрым голосом проговорил он. — Восемьсот десятый, курьер...

— Всё в порядке? — сквозь треск прозвучал женский голос.
— Да. Свободен.

— Езжайте на станцию. Рация замолчала. И тогда заговорила
Нина:

— Хватит пить-то, на дежурстве ведь. Впереди ночь.

— Не переживай за меня. Ты же знаешь: опыт не пропьешь!

— Если он есть, этот самый опыт!

— Не остри, Ниноля, у тебя не получается.

Не успели они выбраться из труппы, где проживал незадачливый любитель водки «Отдохни» и горохового супа, как по рации передали новый вызов. Адрес был знакомый: тот самый, куда они ездили днем – к мальчику с высокой температурой.

Сергеич закурил и повернул по указанному адресу.

— Вот ведь, — раздраженно проговорил Шмаков, тупо глядя на карту вызова.— Никак не успокоятся. Что характерно – я же оставил им инъекцию. Чего еще надо? Температура, видите ли, не спадает... Сергеич, тормозни, я запишу.

— А вдруг у малыша воспаление легких? — сказала Нина. — Мне как-то беспокойно было, когда уезжали днем.

— Не каркай. Нет там никакого воспаления. Что я, не слушал, что ли, пацаненка?

— Оставлять препараты, между прочим, грубое нарушение правил.

— Ты много знаешь, как я погляжу. Правильная наша. Может, тебе пора уже старшим фельдшером быть, а то и главврачом, а?

— Мне из-за тебя премии лишаться нет никакого желания!

— Да ладно! Куда тебе деньги? В Турцию, что ли, собралась?.. До Нового года оставалось двадцать пять минут, когда они вошли в знакомую квартиру.

— Мы сделали всё, как вы говорили, — сказала, встречая медиков на пороге комнаты, мама Лена. — Не помогло.

Мальчик выглядел совсем плохо. Эритроцит сразу понял, что днем сделал ошибку – пацана надо было везти в больницу. Неужели

пневмония? Лёгкие, кажется, были чистыми, без хрипов. Тэк-с, ладно, что будем делать? Соберись, Толян! Он посмотрел на сестру.

Глаза у нее были огромные и испуганные, как у лани.

— Собирайте ребёнка, повезем в больницу! — устало и как бы равнодушно произнес Шмаков. — Да поторапливайтесь, там у людей тоже праздник.

— Ты что? — прошептала, бледнея, сестра. — Совсем уже рехнулся? Чего несешь?

— Заткнись! — красное лицо Эритроцита стало багровым. — Так вы собираетесь?

— Собираемся, собираемся! — ответила перепуганная бабушка.

Папа Дима криво улыбался и подавал одежду.

— Что с ним? — спросил он, обращаясь к Шмакову.

Фельдшер пожал плечами.

— Обострение. Вы не беспокойтесь, в больнице поставят капельницу, введут сильнодействующие препараты...

Мама Лена с трудом заправляла вялые ручки Серёжи в рукава пальто.

— Сейчас, сынок, сейчас, — шептала она. — Мы поедem с тобой в больницу. Там тебе будет хорошо. Да?

Серёжа кивнул головой, и тут мама Лена увидела на лице сына — от губ к носу — белый треугольник.

— Доктор! — крикнула она. — Доктор, что это?

Эритроцит посмотрел на мальчика и вздрогнул. Белый носогубный треугольник был явным признаком начавшейся гипоксии.

Шмакову стало по-настоящему страшно.

— Быстро! — закричал он. — Раздевайте ребенка, наливайте в ванну горячую воду! Нина, вызывай реанимацию!

Папа Дима кинулся в ванну, бабушка и мама Лена стаскивали с Серёжи пальтишко. А он уже ничего не говорил и вдруг стал оседать, ножки его подломились

— Он умирает, доктор! — прошептала бабушка, а мама Лена упала на колени и, зажав в горсти выпавший из разреза кофточки нательный крестик, вдруг неожиданно для себя стала молиться по-польски, выговаривая слышанные когда-то в детстве от своей бабушки Ванды слова молитвы: «Здравасць, Марие, ласки пелна, Пан с То-

бу. Бла-гословьена Ты мендзы невестами, благословен...» Она не знала польского языка, за исключением нескольких слов, которые запомнила от той же бабушки-полячки. А молиться не умела не только по-польски, но и по-русски, но слова шли и шли, независимо от сознания, из самого сердца: «О Пани наша, о Рендовичка наша, Посредничка наша, Сынем Твоим нас поиеднай...».

Как сквозь туман мама Лена видела, что в квартиру вошли другие медики, их стало очень много, они что-то делали с Серёжей, высокий врач с запорожскими усами раздраженно говорил лысому фельдшеру какие-то слова и всё махал руками у него перед лицом, и это красное лицо еще больше краснело. Её муж куда-то рвался, а све-кровь и молоденькая медсестра удерживали его. Она услышала слова «слишком поздно», но не поняла их значения, продолжая молиться, и слёзы текли по её щекам на руки, сжимавшие крест с распятым Спасителем: «...Иезус Христус тераз и на веки вечны. Амэн».

Произнеся последнее слово молитвы, она потеряла сознание. И когда уже проваливалась в мягкую черную бездну, услышала откуда-то издалека и сверху бой кремлевских курантов. Они били полночь.